



СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА

ИЗБРАННЫЕ
ТВОРЕНИЯ

Святитель Лука Крымский
(Войно-Ясенецкий)

Избранные творения

«Сибирская Благовонница»

2010

Крымский (Войно-Ясенецкий) С.

Избранные творения / С. Крымский (Войно-Ясенецкий) —
«Сибирская Благовонница», 2010

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) был замечательным врачом и мог бы до конца жизни нести это служение страждущему человечеству. Но он почувствовал призвание к ещё более высокому служению и в самые страшные для Церкви годы принял священство, а вскоре – и епископский сан. После недолгого пребывания на менявшихся по чужой воле кафедрах – долгие годы заточения. Потом наступили годы хрупкого и двусмысленного «сталинского конкордата», когда под влиянием военных событий произошло, в довольно узких рамках, возрождение церковной жизни. У подавляющего большинства священников, вернувшихся из тюрем и лагерей, было одно чувство: «ну вот, теперь мы можем служить», а владыка Лука хотел не только служить, но и бороться за души тех, кто был далек от Церкви. Так возникли эти проповеди и книги, одни из замечательных произведений церковного «самиздата». В книге представлена автобиография святителя Луки, избранные проповеди с 1945 по 1956 годы, а также разделы, посвященные науке и религии, духу, душе и телу.

© Крымский (Войно-
Ясенецкий) С., 2010

© Сибирская Благовонница, 2010

Содержание

Автобиография	6
Юность	6
Работа в земских больницах	9
Священство	14
Первая ссылка	20
Перед второй ссылкой	29
Архангельская ссылка	33
Третий арест	38
Избранные проповеди	41
1945 год	41
Слово в день памяти святых сорокамучеников Севастийских	41
Слово в первый день Пасхи	43
Слово во второй день Пасхи	44
Безсмертие – безусловное требование души христианской	46
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Избранные творения Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)



Автобиография

Юность

Мой отец был католиком, весьма набожным, он всегда ходил в костел и подолгу молился дома. Отец был человеком удивительно чистой души, ни в ком не видел ничего дурного, всем доверял, хотя по своей должности был окружен нечестными людьми. В нашей православной семье он, как католик, был несколько отчужден.

Мать усердно молилась дома, но в церковь, по-видимому, никогда не ходила. Причиной этого было ее возмущение жадностью и ссорами священников, происходившими на ее глазах. Два брата мои – юристы – не проявляли признаков религиозности. Однако они всегда ходили к выносу Плащаницы и целовали ее и всегда бывали на Пасхальной утрени. Старшая сестра-курсистка, потрясенная ужасом катастрофы на Ходынском поле, психически заболела и выбросилась из окна третьего этажа, получив тяжелые переломы бедра и плечевой кости и разрывы почек, от этого впоследствии образовались почечные камни, от которых она умерла, прожив только двадцать пять лет. Младшая сестра, доселе здравствующая, прекрасная и очень благочестивая женщина.

Религиозного воспитания в семье я не получил, и, если можно говорить о наследственной религиозности, то, вероятно, я ее наследовал главным образом от очень набожного отца.

С детства у меня была страсть к рисованию, и одновременно с гимназией я окончил Киевскую художественную школу, в которой проявил немалые художественные способности. Я даже участвовал в одной из передвижных выставок небольшой картинкой изображавшей старика-нищего, стоящего с протянутой рукой. Влечение к живописи у меня было настолько сильным, что по окончании гимназии решил поступать в Петербургскую Академию Художеств.

Но во время вступительных экзаменов мной овладело тяжелое раздумье о том, правильный ли жизненный путь я избираю. Недолгие колебания кончились решением, что я не в праве заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей. Из Академии я послал матери телеграмму о желании поступить на медицинский факультет, но все вакансии уже были заняты, и мне предложили поступить на естественный факультет, с тем чтобы после перейти на медицинский. От этого я отказался, так как у меня была большая нелюбовь к естественным наукам, ярко выраженный интерес к наукам гуманитарным, в особенности к богословию, философии и истории. Поэтому я предпочел поступить на юридический факультет и в течение года с интересом изучал историю и философию права, политическую экономию и римское право.

Но через год меня опять неодолимо повлекло к живописи. Я отправился в Мюнхен, где поступил в частную художественную школу профессора Книрр. Однако уже через три недели тоска по родине неудержимо повлекла меня домой, я уехал в Киев и еще год с группой товарищей усиленно занимался рисованием и живописью.

В это время впервые проявилась моя религиозность. Я каждый день, а иногда и дважды в день ездил в Киево-Печерскую Лавру, часто бывал в киевских храмах и, возвращаясь оттуда, делал зарисовки того, что видел в Лавре и храмах. Я сделал много зарисовок, набросков и эскизов молящихся людей, лаврских богомольцев, приходивших туда за тысячу верст, и тогда уже сложилось то направление художественной деятельности, в котором я работал бы, если бы не оставил живописи. Я пошел бы по дороге Васнецова и Нестерова, ибо уже ярко определилось основное религиозное направление в моих занятиях живописью. К этому времени я ясно понял процесс художественного творчества. Повсюду: на улицах и в трамваях, на площадях и базарах – я наблюдал все ярко выраженные черты лиц, фигур, движений и по возвращении

домой все это зарисовывал. На выставке в Киевской художественной школе я получил премию за эти свои наброски.

Для отдыха от этой работы я каждый день ходил версты за две по берегу Днепра, по дороге усиленно размышляя о весьма трудных богословских и философских вопросах. Из этих размышлений моих, конечно, ничего не вышло, ибо я не имел никакой научной подготовки.

В это же время я страстно увлекся этическим учением Льва Толстого¹ и стал, можно сказать, завзятым толстовцем: спал на полу на ковре, а летом, уезжая на дачу, косил траву и рожь вместе с крестьянами, не отставая от них.

Однако мое толстовство продолжалось недолго, только лишь до того времени, когда я прочел его запрещенное, изданное за границей сочинение «В чем моя вера», резко оттолкнувшее меня издевательством над православной верой. Я сразу понял, что Толстой – еретик, весьма далекий от подлинного христианства.

Правильное представление о Христовом учении я незадолго до этого вынес из усердного чтения всего Нового Завета, который, по доброму старому обычаю, я получил от директора гимназии при вручении мне аттестата зрелости как напутствие в жизнь. Очень многие места этой святой книги, сохранявшейся у меня десятки лет, произвели на меня глубочайшее впечатление. Они были отмечены красным карандашом.

Но ничто не могло сравниться по огромной силе впечатления с тем местом Евангелия, в котором Иисус, указывая ученикам на поля созревшей пшеницы, сказал им: *жатвы много, а делателей мало; итак, молитесь Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою* (Мф. 9, 37). У меня буквально дрогнуло сердце, я молча воскликнул: «О Господи! Неужели у Тебя мало делателей?!» Позже, через много лет, когда Господь призвал меня делателем на ниву Свою, я был уверен, что этот евангельский текст был первым призывом Божиим на служение Ему.

Так прошел этот довольно странный год. Можно было бы поступить на медицинский факультет, но опять меня взяло раздумье народнического порядка, и по юношеской горячности я решил, что нужно как можно скорее приняться за полезную практическую для простого народа работу. Бродили мысли о том, чтобы стать фельдшером или сельским учителем, и в этом настроении я однажды отправился к директору народных училищ Киевского учебного округа с просьбой устроить меня в одну из школ. Директор оказался умным и проницательным человеком: он хорошо оценил мои народнические стремления, но очень энергично меня отговаривал от того, что я затевал, и убеждал поступить на медицинский факультет.

Это соответствовало моим стремлениям быть полезным для крестьян, так плохо обеспеченных медицинской помощью, но поперек дороги стояло мое почти отвращение к естественным наукам. Я все-таки преодолел это отвращение и поступил на медицинский факультет Киевского университета.

Когда я изучал физику, химию, минералогию, у меня было почти физическое ощущение, что я насильно заставляю мозг работать над тем, что ему чуждо. Мозг, точно сжатый резиновый шар, стремился вытолкнуть чуждое ему содержание. Тем не менее я учился на одни пятерки и неожиданно чрезвычайно заинтересовался анатомией. Изучал кости, рисовал и дома лепил их из глины, а своим умением препарировать трупы сразу обратил на себя внимание всех товарищей и профессора анатомии. Уже на втором курсе мои товарищи единогласно решили, что я буду профессором анатомии, и их пророчество сбылось. Через двадцать лет я действительно стал профессором топографической анатомии и оперативной хирургии.

На третьем курсе я страстно увлекся изучением операций на трупах. Произошла интересная эволюция моих способностей: умение весьма тонко рисовать и моя любовь к форме

¹ В то время Валентин Войно-Ясенецкий написал Льву Толстому письмо. Оно было опубликовано в «Вестнике РХД» № 170 (III-1994).

перешли в любовь к анатомии и тонкую художественную работу при анатомической препаровке и при операциях на трупах. Из неудавшегося художника я стал художником в анатомии и хирургии.

На третьем курсе я неожиданно был избран старостой. Это случилось так: перед одной лекцией я узнал, что один из товарищей по курсу – поляк – ударил по щеке другого товарища – еврея. По окончании лекции я встал и попросил внимания. Все примолкли. Я произнес страстную речь, обличавшую безобразный поступок студента-поляка. Я говорил о высших нормах нравственности, о перенесении обид, вспомнил великого Сократа, спокойно отнесшегося к тому, что его сварливая жена вылила ему на голову горшок грязной воды. Эта речь произвела столь большое впечатление, что меня единогласно избрали старостой.

Государственные экзамены я сдавал блестяще, на одни пятерки, и профессор общей хирургии сказал мне на экзамене: «Доктор, Вы теперь знаете гораздо больше, чем я, ибо Вы прекрасно знаете все отделы медицины, а я уж многое забыл, что не относится прямо к моей специальности».

Только на экзамене по медицинской химии (теперь она называется биохимией) я получил тройку. На теоретическом экзамене я отвечал отлично, но надо было сделать еще исследование мочи. Как это, к сожалению, было в обычае, служитель лаборатории за полученные от студентов деньги рассказал, что надо найти в первой колбе и пробирке, и я знал, что в моче, которую мне предложили исследовать, есть сахар. Однако благодаря маленькой ошибке троммеровская реакция у меня не вышла, и, когда профессор, не глядя на меня, спросил: «Ну, что вы там нашли?» – я мог бы сказать, что нашел сахар, но сказал, что троммеровская реакция сахара не обнаружила.

Эта единственная тройка не помешала мне получить диплом лекаря с отличием.

Когда все мы получили дипломы, товарищи по курсу спросили меня, чем я намерен заняться. Когда я ответил, что намерен быть земским врачом, они с широко открытыми глазами сказали: «Как, Вы будете земским врачом?! Ведь Вы ученый по призванию!» Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным людям.

Работа в земских больницах

Сразу стать земским врачом мне не пришлось, так как я окончил университет осенью 1903 года, перед самым началом войны с Японией; и началом моей медицинской работы была военно-полевая хирургия в госпитале Киевского Красного Креста возле города Читы.

В нашем госпитале было два хирургических отделения: одним заведовал опытный одесский хирург, а другое главный врач отряда поручил мне, хотя в отряде были еще два хирурга значительно старше меня. Я сразу же развил большую хирургическую работу, оперируя раненых, и, не имея специальной подготовки по хирургии, стал сразу делать крупные ответственные операции на костях, суставах, на черепе. Результаты работы были вполне хорошими, несчастий не бывало. В работе мне много помогла недавно вышедшая блестящая книга французского хирурга Лежара «Неотложная хирургия», которую я основательно проштудировал перед поездкой на Дальний Восток.

Я не был кадровым врачом и военной формы никогда не носил.

В Чите я женился на сестре милосердия, Анне Васильевне Ланской, работавшей прежде в Киевском военном госпитале, где ее называли святой сестрой. Она покорила меня не столько своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью характера. Там два врача просили ее руки, но она дала обет девства. Выйдя за меня замуж, она нарушила этот обет, и в ночь перед нашим венчанием в церкви, построенной декабристами, она молилась перед иконой Спасителя, и вдруг ей показалось, что Христос отвернул Свой лик и образ Его исчез из киота. Это было, по-видимому, напоминанием об ее обете, и за нарушение его Господь тяжело наказал ее невыносимой, патологической ревностью.

Мы уехали из Читы до окончания войны, и я поступил врачом в Ардатовское земство Симбирской губернии. Там мне пришлось заведовать городской больницей. В трудных и неприглядных условиях я сразу стал оперировать по всем отделам хирургии и офтальмологии. Однако через несколько месяцев мне пришлось отказаться от работы в Ардатове ввиду ее невыносимой трудности.

Надо отметить, что в ардатовской больнице я сразу столкнулся с большими трудностями и опасностями применения общего наркоза при плохих помощниках, и уже там у меня возникла мысль о необходимости, по возможности, избегать наркоза и как можно шире заменять его местной анестезией. Я решил перейти на работу в маленькую больницу и нашел такую в селе Верхний Любаж Фатежского уезда Курской губернии. Однако и там было не легче, ибо в маленькой участковой больнице на десять коек я стал широко оперировать и скоро приобрел такую славу, что ко мне пошли больные со всех сторон, и из других уездов Курской губернии и соседней, Орловской.

Вспоминаю курьезный случай, когда молодой нищий, слепой с раннего детства, прозрел после операции. Месяца через два он собрал множество слепых со всей округи, и все они длинной вереницей пришли ко мне, ведя друг друга за палки и чая исцеления.

В это время вышла первым изданием книга профессора Брауна «Местная анестезия, ее научное обоснование и практические применения». Я с жадностью прочел ее и из нее впервые узнал о регионарной анестезии, немногие методы которой весьма недавно были опубликованы. Я запомнил, между прочим, что осуществление регионарной анестезии седалищного нерва Браун считает едва ли возможным. У меня возник живой интерес к регионарной анестезии, я поставил себе задачей заняться разработкой новых методов ее.

В Любаже мне встретилось несколько редких и весьма интересных хирургических случаев, и о них я там же написал две мои первые статьи: «Элефантиаз лица, плексиформная неврома» и другую – «Ретроградное ущемление при грыже кишечной петли».

Чрезмерная популярность сделала мое положение в Люба-же невыносимым. Мне приходилось принимать амбулаторных больных, приезжавших во множестве, и оперировать в больнице с девяти часов утра до вечера, разъезжать по довольно большому участку и по ночам исследовать под микроскопом вырезанное при операции, делать рисунки микроскопических препаратов для своих статей, и скоро не стало хватать для огромной работы и моих молодых сил.

Заслуживает упоминания и моя первая трахеотомия, сделанная в совершенно исключительных условиях. Я приехал для осмотра земской школы в недалекую от Любажа деревню. Занятия уже кончились. Неожиданно прибежала в школу девочка, неся в руках совершенно задыхающегося ребенка. Он поперхнулся маленьким кусочком сахара, который попал ему в гортань. У меня был только перочинный ножик, немного ваты и немного раствора сулемы. Тем не менее я решил сделать трахеотомию и попросил учительницу помочь мне. Но она, закрыв глаза, убежала. Немного храбрее оказалась старуха-уборщица, но и она оставила меня одного, когда я приступил к операции. Я положил спеленатого ребенка к себе на колени и быстро сделал ему трахеотомию, протекающую как нельзя лучше, вместо трахеотомической трубки я ввел в трахею гусиное перо, заранее приготовленное старухой. К сожалению, операция не помогла, так как кусочек сахара застрял ниже, – по-видимому, в бронхе.

Земской управой я был переведен в уездную Фатежскую больницу, но и там недолго пришлось мне поработать. Фатежский уезд был гнездом самых редких зубров-черносотенцев. И самым крайним из них был председатель земуправы Батезатул, задолго до войны прославившийся своим законопроектом о принудительной эмиграции в Россию китайских крестьян для передачи их в рабство помещикам.

Батезатул считал меня революционером за то, что я не отправился немедленно, оставив все дела, к заболевшему исправнику, и постановлением управы я был уволен со службы. Это, однако, не обошлось благополучно. В базарный день один из вылеченных мной слепых влез на бочку, произнес зажигательную речь по поводу моего увольнения, и под его предводительством толпа народа пошла громить земскую управу, здание которой находилось на базарной площади. Там был только один член управы, от страха залезший под стол. Мне, конечно, пришлось поскорее уехать из Фатежа.

Это было в 1909 году.

В 1907 году в Любаже родился мой первенец – Миша. А в следующем, 1908 году родилась моя дочь Елена. Должность акушерки мне пришлось исполнять самому.

Из Фатежа я уехал в Москву и там немного менее года был экстерном хирургической клиники профессора Дьяконова. По правилам этой клиники все врачи-экстерны должны были писать докторскую диссертацию, и мне предложена была тема «Туберкулез коленного сустава». Через две-три недели меня пригласил профессор Дьяконов и спросил, как идет работа по диссертации. Я ответил, что уже прочел литературу, но у меня нет интереса к этой теме. Умный профессор с глубоким вниманием отнесся к моему ответу и, когда узнал, что у меня есть собственная моя тема, с живым интересом стал расспрашивать о ней. Оказалось, что он ничего не знает о регионарной анестезии, и мне пришлось рассказывать ему о книге Брауна. К моей радости, он предложил мне продолжать работу над регионарной анестезией, оставив предложенную тему.

Так как моя тема требовала анатомических исследований и опытов с инъекциями окрашенной желатины на трупах, то мне пришлось перейти в Институт топографической анатомии и оперативной хирургии, директором которого был профессор Рейн, председатель Московского хирургического общества. Но оказалось, что и он не слышал и ничего не читал о регионарной анестезии.

Скоро мне удалось найти простой и верный способ инъекции и к седалищному нерву у самого выхода его из полости таза, что Генрих Браун считал вряд ли разрешимой задачей.

Нашел я и способ инъекции к срединному нерву и регионарной анестезии всей кисти руки. Об этих моих открытиях я сделал доклад в Московском хирургическом обществе, и он вызвал большой интерес.

Но не на что мне было жить в Москве с женой и двумя маленькими детьми, и я должен был уехать в село Романовку Балашовского уезда Саратовской губернии работать в больнице на двадцать пять коек, где развил большую хирургическую работу и напечатал отчет о ней отдельной книжкой по образцу отчетов клиники профессора Дьяконова. Работу над регионарной анестезией я продолжал в Москве во время ежегодных месячных отпусков, работая с утра до вечера в Институте профессора Рейна и профессора Карузина при кафедре описательной анатомии. Здесь я исследовал триста черепов и нашел очень ценный способ инъекции ко второй ветви тройничного нерва у самого выхода из форамен ротундум (круглое отверстие. – *лат.*). К концу этой работы я уже не был в Романовке, а состоял главным врачом и хирургом уездной больницы на пятьдесят коек в Переславле-Залесском.

Незадолго до нашего отъезда из Романовки родился мой сын Алеша, с большим приключением. Близилось время родов, но я рискнул ехать в Балашов на заседание Санитарного совета, надеясь скоро вернуться. Не дождавшись окончания заседания совета, я поспешил на станцию и увидел поезд, уже давший второй свисток. Не успев взять билета, я сел в вагон, но скоро увидел в нем много татар, чего не бывало в романовском поезде. Оказалось, что я попал не в свой, а в харьковский поезд и должен был с ближайшей станции вернуться в Балашов. Но Бог помог, и в Романовке я нашел уже новорожденного сына, которого принимала женщина-врач, раньше меня вернувшаяся с Санитарного совета и захватившая сюда по дороге в свой врачебный участок.

В 1916 году, живя в Переславле, я защитил в Москве докторскую диссертацию о регионарной анестезии. Оппонентами были профессор Мартынов, приват-доцент топографической анатомии и оперативной хирургии, (фамилии которого не помню), и профессор Карузин.

Интересен был отзыв профессора Мартынова. Он сказал: «Мы привыкли к тому, что докторские диссертации пишутся обычно на заданную тему с целью получения высших назначений по службе и научная ценность их невелика. Но когда я читал вашу книгу, то получил впечатление пения птицы, которая не может не петь, и высоко оценил ее». А профессор Карузин, очень взволнованный, подбежал ко мне и, потрясая мою руку, усердно просил прощения в том, что не интересовался моей работой на чердаке, где хранятся черепа, и не подозревал, что там создается такая блестящая работа.

За свою диссертацию я получил от Варшавского университета крупную премию имени Хойнацкого в девятьсот рублей золотом, предназначавшуюся «за лучшие сочинения, пролагающие новый путь в медицине». Однако денег этих мне не пришлось получить, потому что книга была напечатана небольшим тиражом только в семьсот пятьдесят экземпляров, и быстро распродана в книжных магазинах, куда я неосторожно разослал их, и я не мог представить в Варшавский университет требуемого количества экземпляров.

У земского врача, каким я был тринадцать лет, воскресные и праздничные дни самые занятые и обремененные огромной работой. Поэтому я не имел возможности ни в Любаже, ни в Романовке, ни в Переславле-Залесском бывать на богослужениях в церкви и многие годы не говел. Однако в последние годы моей жизни в Переславле я с большим трудом нашел возможность бывать в соборе, где у меня было свое постоянное место, и это возбудило радость среди верующих Переславля.

Было еще одно великое событие в моей жизни, начало которому Господь положил в Переславле.

С самого начала своей хирургической деятельности в Чите, Любаже и Романовке я ясно понял, как огромно значение гнойной хирургии и как мало знаний о ней вынес я из университета. Я поставил своей задачей глубокое самостоятельное изучение диагностики и терапии

гнойных заболеваний. В конце моего пребывания в Переславле пришло мне на мысль изложить свой опыт в особой книге – «Очерки гнойной хирургии». Я составил план этой книги и написал предисловие к ней. И тогда, к моему удивлению, у меня появилась крайне странная неотвязная мысль: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа».

Быть священнослужителем, а тем более епископом мне и во сне не снилось, но неведомые нам пути жизни нашей вполне известны Всеведущему Богу, еще когда мы во чреве матери. Как увидите дальше, уже через несколько лет стала полной реальностью моя неотвязная мысль: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа».

В Переславле-Залесском мы прожили шесть с половиной лет. Там родился мой младший сын Валентин.

В городской и фабричной больницах я развил очень широкую хирургическую работу и был одним из пионеров в новых тогда крупнейших операциях на желчных путях, желудке, селезенке и даже на головном мозге. Кроме того, я в 1915–1916 годах заведовал небольшим госпиталем для раненых.

В начале 1917 года к нам приехала старшая сестра моей жены, только что похоронившая в Крыму свою молоденькую дочь, умершую от скоротечной чахотки. На великую беду, она привезла с собой ватное одеяло, под которым лежала ее больная дочь. Я говорю своей жене Ане, что в одеяле привезена к нам смерть. Так и случилось: сестра Ани прожила у нас всего недели две, и вскоре после ее отъезда я обнаружил у Ани явные признаки туберкулеза легких.

Это совпало с тем временем, когда я по объявлению в газете при очень большом конкурсе получил приглашение в Ташкент на должность хирурга и главного врача большой городской больницы. С нами ехала девушка-прислуга, недавно родившая ребенка. На полдороге от Переславля до Москвы пришлось остановиться на неделю в гостинице Троице-Сергиевой Лавры вследствие высокой лихорадки у Ани. Поездка на поезде в Москву и дальнейший путь до Ташкента с малыми детьми были крайне трудными, так как было уже сильно расстроено железнодорожное движение.

В Ташкенте у нас была отличная квартира главврача при больнице, пять комнат, в которых, однако, мне самому нередко приходилось мыть полы из-за неизбежного при революции расстройства жизни. В 1919 году в городе происходила междоусобная война между гарнизоном ташкентской крепости и полком туркменских солдат под предводительством изменившего революции военного комиссара. Через весь город над самой больницей летели с обеих сторон во множестве пушечные снаряды, и под ними мне приходилось ходить в больницу.

Восстание Туркменского полка было подавлено, началась расправа с участниками контрреволюции. При этом и мне, и завхозу больницы пришлось пережить страшные часы. Мы были арестованы неким Андреем, служителем больничного морга, питавшим ненависть ко мне, так как он был наказан начальником города после моей жалобы. Меня и завхоза больницы повели в железнодорожные мастерские, в которых происходил суд над Туркменским полком. Когда мы проходили по железнодорожному мосту, стоявшие на рельсах рабочие что-то кричали Андрею: как я после узнал, они советовали Андрею не возиться с нами, а расстрелять нас под мостом.

Огромное помещение было наполнено солдатами восставшего полка, и их по очереди вызывали в отдельную комнату и там в списке имен почти всем ставили кресты. В трибунале участвовал Андрей и другой служащий больницы, который успел предупредить других участников суда, что меня и завхоза по личной злобе арестовал Андрей. Нам крестов не поставили и быстро отпустили. Когда нас провожали обратно в больницу, то встречавшиеся по дороге рабочие крайне удивлялись тому, что нас отпустили из мастерских.

Позже мы узнали, что в тот же день вечером в огромной казарме мастерских была устроена ужасная человеческая бойня, были убиты солдаты Туркменского полка и многие горожане.

А моя бедная больная Аня знала, что меня арестовали, знала, куда увели, и пережила ужасные часы до моего возвращения. Это тяжелое душевное потрясение крайне вредно отразилось на ее здоровье, и болезнь стала быстро прогрессировать.

Настали и последние дни ее жизни. Она горела в лихорадке, совсем потеряла сон и очень мучилась. Последние двенадцать ночей я сидел у ее смертного одра, а днем работал в больнице. Настала последняя страшная ночь. Чтобы облегчить страдания умиравшей, я впрыснул ей шприц морфия, и она заметно успокоилась. Минут через двадцать слышу: «Впрысни еще». Через полчаса это повторилось опять, и в течение двух-трех часов я много впрыснул ей шприцев морфия, далеко превысив допустимую дозу. Но отравляющего действия его не видел. Вдруг Аня быстро поднялась и села, довольно громко сказала: «Позови детей». Пришли дети, и всех их она перекрестила, но не целовала, вероятно, боясь заразить. Простившись с детьми, она легла, спокойно лежала с закрытыми глазами, и дыхание ее становилось все реже и реже... Настал и последний вздох.

Гроб заранее был приготовлен. Утром пришли мои операционные служанки, обмыли и одели мертвое тело и уложили в гроб. Аня умерла тридцати восьми лет, в конце октября 1919 года, и я остался с четырьмя детьми, из которых старшему было двенадцать, а младшему – шесть лет.

Две ночи я сам читал над гробом Псалтирь, стоя у ног покойной в полном одиночестве. Часа в три второй ночи я читал сто двенадцатый псалом, начало которого поется при встрече архиерея в храме: *От восхода солнца до запада* (Пс. 112, 3), и последние слова псалма поразили и потрясли меня, ибо я с совершенной несомненностью воспринял их как слова Самого Бога, обращенные ко мне: *неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях* (Пс. 112, 9).

Господу Богу было ведомо, какой тяжелый, тернистый путь ждет меня, и тотчас после смерти матери моих детей Он Сам позаботился о них и мое тяжелое положение облегчил. Почему-то без малейшего сомнения я принял потрясшие меня слова псалма как указание Божие на мою операционную сестру Софию Сергеевну Велецкую, о которой я знал только то, что она недавно похоронила мужа и была бездетной, и все мое знакомство с ней ограничивалось только деловыми разговорами, относящимися к операции. И, однако, слова: *неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях* – я без сомнения принял как Божие указание возложить на нее заботы о моих детях и воспитании их.

Я едва дождался семи часов утра и пошел к Софии Сергеевне, жившей в хирургическом отделении. Я постучал в дверь. Открыв ее, она с изумлением отступила назад, увидев в столь ранний час своего сурового начальника, и с глубоким волнением слушала о том, что случилось ночью над гробом моей жены.

Я только спросил ее, верует ли она в Бога и хочет ли исполнить Божие повеление: заменить моим детям их умершую мать. София Сергеевна с радостью согласилась.

Она сказала, что ей очень больно было только издали смотреть, как мучилась моя жена, и очень хотелось помочь нам, но сама она не решалась предложить нам свою помощь. Она издали любила моих младших детей, но опасалась, что не сладит с Мишей, моим старшим сыном, потому что он обижает младших. Так и случилось. Трех младших детей она очень любила, и особенно самый младший, Валя, не слезал с ее колен. А Мишу пришлось ей перевоспитывать.

Моя квартира главврача состояла из пяти комнат, так удачно расположенных, что София Сергеевна могла получить отдельную комнату, вполне изолированную от тех, которые я занимал. Она долго жила в моей семье, но была только второй матерью для детей, ибо Всевышнему Богу известно, что мое отношение к ней было совершенно чистым. На этом остановлюсь, а после расскажу о тех великих благодеяниях, которые получали мои дети от Бога через Софию Сергеевну.

Священство

Я скоро узнал, что в Ташкенте существует церковное братство, и пошел на одно из заседаний его.² По одному из обсуждавшихся вопросов я выступил с довольно большой речью, которая произвела большое впечатление. Это впечатление перешло в радость, когда узнали, что я главный врач городской больницы.

Видный протоиерей Михаил Андреев, настоятель привокзальной церкви, в воскресные дни по вечерам устраивал в церкви собрания, на которых он сам или желающие из числа присутствовавших выступали с беседами на темы Священного Писания, а потом все пели духовные песни. Я часто бывал на этих собраниях и нередко проводил серьезные беседы. Я, конечно, не знал, что они будут только началом моей проповеднической работы в будущем.

Когда возникла недоброй памяти «живая» церковь, то, как известно, везде и всюду на епархиальных съездах духовенства и мирян обсуждалась деятельность епископов и некоторых из них смещали с кафедр. Так, «суд» над епископом Ташкентским и Туркменским происходил в Ташкенте в большой певческой комнате, очень близко от кафедрального собора. На нем присутствовал и я в качестве гостя и по какому-то очень важному вопросу выступил с продолжительной, горячей речью.

Резких выступлений на съезде не было, и деятельность Преосвященного Иннокентия (Пустынского) получила положительную оценку. Когда кончился съезд и присутствовавшие расходились, я неожиданно столкнулся в дверях с Владыкой Иннокентием. Он взял меня под руку и повел на перрон, окружавший собор. Мы обошли два раза вокруг собора, Преосвященный говорил, что моя речь произвела большое впечатление, и, неожиданно остановившись, сказал мне: «Доктор, вам надо быть священником!»

Как я уже говорил раньше, у меня никогда не было и мысли о священстве, но слова Преосвященного Иннокентия я принял как Божий призыв устами архиерея и, ни минуты не размышляя, ответил: «Хорошо, Владыко! Буду священником, если это угодно Богу!»

Впрочем, позже я говорил с Владыкою о том, что в моем доме живет моя операционная сестра Велецкая, которую я, по явному, чудесному повелению Божию, ввел в дом *матерью, радующеюся о детях*, а священник не может жить в одном доме с чужой женщиной. Но Владыка не придавал значения этому возражению, сказав, что не сомневается в моей верности седьмой заповеди.

Уже в ближайшее воскресенье при чтении часов я, в сопровождении двух диаконов, вышел в чужом подряснике к стоявшему на кафедре архиерею и был посвящен им в чтеца, певца и иподиакона, а во время Литургии – и в сан диакона.

Конечно, это необыкновенное событие посвящения во диакона уже получившего высокую оценку профессора произвело огромную сенсацию в Ташкенте, и ко мне пришли большой группой студенты медицинского факультета во главе с одним профессором.

² Прежде чем приступить к операции, будущий Владыка Лука всегда осенял себя крестным знамением и сосредоточенно молился, повернувшись к иконе Божией Матери, которая висела в операционной городской больницы много лет. Неверующие врачи перестали обращать на это внимание, а верующие считали делом самым обычным. В начале двадцатого года одна из ревизионных комиссий приказала убрать икону. В ответ на это Валентин Феликсович ушел из больницы и заявил, что вернется только после того, как икону вернут на место. По воспоминаниям профессора Л. В. Ошанина, комиссия высказалась в том смысле, что «операционная – учреждение государственное. У нас Церковь отделена от государства. Если вашему хирургу хочется молиться, пусть молится, никто ему не мешает, но пусть держит икону у себя дома». Войно-Ясенецкий повторил, что в операционную не вернется. Но в это время крупный партиец привез в больницу свою жену для неотложной операции. Женщина категорически заявила, что желает, чтобы ее оперировал Войно-Ясенецкий. «Его вызвали в приемную, – пишет профессор Ошанин. – Он подтвердил, что очень сожалеет, но, согласно своим религиозным убеждениям, не пойдет в операционную, пока икону не повесят обратно... Доставивший больную заявил, что дает “честное слово”, что икона завтра же будет на месте, лишь бы врач немедленно оперировал больную... Войно-Ясенецкий немедленно пошел в хирургический корпус и оперировал женщину, которая в дальнейшем вполне поправилась. На следующее утро икона действительно висела в операционной».

Конечно, они не могли понять и оценить моего поступка, ибо сами были далеки от религии. Что поняли бы они, если бы я им сказал, что при виде кощунственных карнавалов и издевательств над Господом нашим Иисусом Христом мое сердце громко кричало: «Не могу молчать!» И я чувствовал, что мой долг – защищать проповедью оскорбляемого Спасителя нашего и восхвалять Его безмерное милосердие к роду человеческому.

Через неделю после посвящения во диакона, в праздник Сретения Господня 1921 года, я был рукоположен во иерея епископом Иннокентием.

Я забыл раньше сказать о том, что в Ташкенте я был одним из инициаторов открытия университета. Большинство кафедр было замещено избранными из числа ташкентских докторов медицины, и только я один был почему-то избран в Москве на кафедру топографической анатомии и оперативной хирургии.

Мне пришлось совмещать свое священническое служение с чтением лекций на медицинском факультете, слушать которые приходили во множестве и студенты других курсов. Лекции я читал в рясе с крестом на груди: в то время еще было возможно невозможное теперь. Я оставался и главным хирургом ташкентской городской больницы, потому служил в соборе только по воскресеньям.

Преосвященный Иннокентий, редко проповедовавший, назначил меня четвертым священником собора и поручил мне все дело проповеди. При этом он сказал мне словами апостола Павла: «Ваше дело *не крестить, а благовествовать*» (1 Кор. 1, 17). Он глубоко понимал, что говорил, и слово его было почти пророческим, и теперь, на тридцать восьмой году своего священства и тридцать шестом году своего архиерейства, я вполне ясно понимаю, что моим призванием от Бога была именно проповедь и исповедание имени Христова. За долгое время своего священства я почти никаких треб не совершал, даже ни разу не крестил полным чином крещения. Кроме проповеди при богослужениях, совершаемых Преосвященным Иннокентием и мною самим, я проводил каждый воскресный день после вечерни в соборе долгие беседы на важные и трудные богословские темы, привлекавшие много слушателей, целый цикл этих бесед был посвящен критике материализма.

Богословского образования я не имел, но с Божией помощью легко преодолевал трудности таких бесед.

Кроме того, мне приходилось в течение двух лет часто вести публичные диспуты при множестве слушателей с отрекшимся от Бога протоиереем Ломакиным, бывшим миссионером Курской епархии, возглавлявшим антирелигиозную пропаганду в Средней Азии.

Как правило, эти диспуты кончались посрамлением отступника от веры, и верующие не давали ему прохода вопросом: «Скажи нам, когда ты врал: тогда, когда был попом, или теперь врешь?» Несчастный хулитель Бога стал бояться меня и просил устроителей диспутов избавить его от этого философа.

Однажды, неведомо для него, железнодорожники пригласили меня в свой клуб для участия в диспуте о религии. В ожидании начала диспута я сидел на сцене при опущенном занавесе, и вдруг вижу – поднимается на сцену по лестнице мой всегдашний противник. Увидев меня, крайне смутился, пробормотал: «Опять этот доктор», поклонился и пошел вниз. Первым говорил на диспуте он, но, мое выступление совершенно разбило все его доводы, и рабочие наградили меня громкими аплодисментами.

На несчастном хулителе Духа Святого страшно сбылось слово псалмопевца Давида: *Смерть грешников люта* (Пс. 33, 22). Он заболел раком прямой кишки, и при операции оказалось, что опухоль уже проросла в мочевой пузырь. В тазу скоро образовалась глубокая, крайне зловонная полость, наполненная гноем, калом и мочой и кишевшая множеством червей. Враг Божий пришел в крайнее озлобление от своих страданий, и даже партийные медицинские сестры, назначаемые для ухода за ним, не могли выносить его злобы и проклятий и отказывались от ухода за ним.

В это трудное для меня время, когда мне приходилось совмещать служение и проповедь в кафедральном соборе с заведованием кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии и чтением лекций, я должен был спешно изучать богословие. И в этом деле мне помогал Господь Бог через одного из слушателей моих бесед и диспутов – верующего букиниста, который приносил мне так много богословских книг, что скоро у меня образовалась порядочная библиотека.

Но и этого мало: я продолжал работать в качестве главного врача больницы, широко оперировал каждый день и даже по ночам в больнице и не мог не обрабатывать своих наблюдений научно. Для этого мне нередко приходилось делать исследования на трупах в больничном морге, куда ежедневно привозили повозки, горою нагруженные трупами беженцев из Поволжья, где свирепствовали тяжелый голод и эпидемии заразных болезней. Свою работу на этих трупах мне приходилось начинать с собственноручной очистки их от вшей и нечистот. Многие из этих исследований на трупах легли в основу моей книги «Очерки гнойной хирургии»,³ выдержавшей три издания общим тиражом 60 000 экземпляров. За нее я получил Сталинскую премию первой степени.

Однако работа на покрытых вшами трупах обошлась мне недешево. Я заразился возвратным тифом в очень тяжелой форме, но, по милости Божией, болезнь ограничилась одним тяжелым приступом и вторым, незначительным.

Весной 1923 года, незадолго до церковного раскола и появления «живой» церкви, епископ Иннокентий созвал съезд духовенства Ташкентской и Туркестанской епархии, который должен был избрать двух кандидатов на возведение в архиерейский сан. Выбор пал на архимандрита Виссариона и на меня.

Вскоре произошло восстание против Патриарха Тихона московских и петроградских священников, которое возглавил протоиерей Александр Введенский. По всей России произошло разделение духовенства на стойких и крепких духом, верных Православной Церкви и Патриарху Тихону, и на малодушных, неверных или не разбиравшихся в бурных церковных событиях, вошедших в «живую» церковь, возглавляемую Введенским и немногими его сообщниками, имен которых уже не помню.

Отозвался раскол и у нас в Ташкентской епархии. Архиепископ Иннокентий, крайне редко сам проповедовавший, выступил со смелой, сильной проповедью о том, что в Церкви бунт и что необходимо сохранять верность Церкви Православной и Патриарху Тихону и не входить ни в какие сношения с «живоцерковным» епископом, приезда которого ожидали.

Неожиданно для всех два видных протоиерея, на которых вполне надеялись, перешли в раскол, к ним присоединились и другие, и верных осталось немного.

Преосвященный Иннокентий поспешил совершить хиротонию архимандрита Виссариона. Совместно с епископом Сергием (Лавровым), недавно переведенным в Ташкент из ашхабадской ссылки, он совершил полным чином наречение во епископа архимандрита Виссари-

³ «Чрезвычайно тяжелый путь сельского хирурга-самоучки, который мне пришлось пройти, научил меня весьма многому, чем хотелось бы теперь на склоне моей хирургической деятельности поделиться с молодыми товарищами, чтобы облегчить их трудные задачи», – писал будущий Владыка Лука в предисловии к первому изданию своей уникальной монографии, ставшей настольной книгой врачей. Медики свидетельствуют, что монография Владыки Луки – действительно классический, фундаментальный труд, охватывающий практически все аспекты гнойной хирургии. Материал книги изложен необыкновенно ясно, четко, понятно и вместе с тем высокопрофессионально. Так мог писать только человек, который сам начинал работать без практической помощи и руководства. Есть в «Очерках» строки, показывающие, с каким христианским вниманием относился Владыка к больному: «Приступая к операции, надо иметь в виду не только брюшную полость, а всего больного человека, который, к сожалению, так часто у врачей именуется “случаем”. Человек в смертельной тоске и страхе, сердце у него трепещет не только в прямом, но и в переносном смысле. Поэтому не только выполните весьма важную задачу подкрепить сердце камфарой или дигаленом, но позаботьтесь о том, чтобы избавить его от тяжелой психической травмы: вида операционного стола, разложенных инструментов, людей в белых халатах, масках, резиновых перчатках, – усыпите его вне операционной. Позаботьтесь о согревании его во время операции, ибо это чрезвычайно важно».

она. Но на другой же день нареченный епископ был арестован и выслан из Ташкента. Позже он примкнул к григорианскому расколу и получил сан митрополита.

Преосвященный Иннокентий был очень испуган и тайно ночью уехал в Москву, надеясь оттуда попасть в Валаамский монастырь. Но это, конечно, ему не удалось, и лишь спустя много времени смог он пробраться в свою деревню Пустынька.

Епископ уехал. В Церкви бунт. Тогда протоиерей Михаил Андреев и я объединили всех оставшихся верными священников и церковных старост, устроили съезд оставшихся верными, предупредили об этом ГПУ, попросив разрешения и присылки наблюдателя. Мы с протоиереем Андреевым взяли на себя управление епархиальными делами и созывали в Ташкенте на епархиальное собрание священников и членов церковного совета, отвергнувших «живую» церковь. На эти собрания мы просили ГПУ прислать своих представителей, но ни разу они не приезжали. Казалось бы, все безупречно, но за это, главным образом, я получил свою первую ссылку.

В это время приехал в Ташкент очень видный архиерей – Преосвященный Андрей (фамилии его не помню). Узнав о положении дел у нас, он назначил меня настоятелем собора и объявил протоиереем.

Вскоре после этого из Ашхабада в Ташкент был переведен другой ссыльный, Преосвященный Андрей Уфимский (князь Ухтомский). Незадолго до своего ареста и ссылки в Среднюю Азию он был в Москве, и Патриарх Тихон, находившийся под домашним арестом, дал ему право избирать кандидатов для возведения в сан епископа и тайным образом рукополагать их.

Приехав в Ташкент, Преосвященный Андрей одобрил избрание меня кандидатом на посвящение во епископа собором ташкентского духовенства и тайно постриг меня в монашество в моей спальне.

Он говорил мне, что хотел дать мне имя целителя Пантелеимона, но когда побывал на Литургии, совершенной мною, и услышал мою проповедь, то нашел, что мне гораздо более подходит имя апостола-евангелиста, врача и иконописца Луки.

Преосвященный Андрей направил меня в таджикский город Пенджикент, отстоявший за 90 верст от Самарканда. В Пенджикенте жили два ссыльных епископа: Даниил Волховский и Василий Суздальский; епископ Андрей передал им через меня письмо с просьбой совершить надо мною архиерейскую хиротонию.

Как я выше писал, я был два года и четыре месяца младшим священником ташкентского кафедрального собора, продолжая работать главным врачом и хирургом городской больницы. Мой отъезд в Самарканд должен был быть тайным, и потому я назначил на следующий день четыре операции, а сам вечером уехал на поезде в Самарканд в сопровождении одного иеромонаха, диакона и своего старшего сына – шестнадцатилетнего Михаила.

Утром приехали в Самарканд, но найти пароконного извозчика для дальнейшего пути в Пенджикент оказалось почти невозможным: ни один не соглашался ехать, потому что все боялись нападения басмачей. Наконец нашелся один смельчак, который решился нас везти. Мы долго ехали. На полдороге мы остановились в чайхане отдохнуть и покормить лошадей. Две последние ночи я не спал ни минуты, и там, как только лег на деревянный помост, на котором пьют чай узбеки, в тот же миг точно в бездну провалился, заснул мертвым сном. Я спал только 3/4 часа, но сон укрепил меня, и я совершенно отдохнул. С Божией помощью мы доехали благополучно.

Преосвященные Даниил и Василий встретили нас с любовью. Прочитав письмо епископа Андрея (Ухтомского), решили назначить на завтра Литургию для совершения хиротонии и немедленно отслужить вечерню и утреню в маленькой церкви Святителя Николая Мирликийского, без звона и при запертых дверях. С епископами жил ссыльный московский священник протоиерей Свенцицкий, известный церковный писатель, который тоже присутствовал при

моем посвящении. На вечерне и Литургии читали и пели мои спутники и протоиерей Свенцицкий.

Преосвященных Даниила и Василия смущало то обстоятельство, что я не был архимандритом, а только иеромонахом, и не было наречения меня в сан епископа. Однако недолго колебались, вспомнили ряд примеров посвящения во епископа иеромонахов и успокоились. На следующее утро все мы отправились в церковь. Заперли за собой дверь и не звонили, а сразу начали службу и в начале Литургии совершили хиротонию.

При хиротонии посвящаемый склоняется над Престолом, а архиерей держит над его головой раскрытое Евангелие. В этот важный момент хиротонии, когда читали совершительную молитву Таинства священства, я пришел в такое глубокое волнение, что всем телом дрожал, и потом архиереи говорили, что подобного волнения не видели никогда. Из церкви Преосвященные Даниил и Василий и протоиерей Свенцицкий вернулись домой несколько раньше, чем я, и встретили меня архиерейским приветствием: «Тон деспотин ке архиереа имон...» Архиереем я стал 18/31 мая 1923 года. В Ташкент мы вернулись на следующий день вполне благополучно.

Когда сообщили об этой хиротонии Святейшему Патриарху Тихону, то он, ни на минуту не задумываясь, утвердил и признал ее законной.

На воскресенье, 21 мая, день памяти равноапостольных Константина и Елены, я назначил свою первую архиерейскую службу. Преосвященный Иннокентий уже уехал. Все священники кафедрального собора разбежались, как крысы с тонущего корабля, и свою первую воскресную всенощную и Литургию я мог служить только с одним протоиереем Михаилом Андреевым.

На моей первой службе в алтаре присутствовал Преосвященный Андрей Уфимский; он волновался, что я не сумею служить без ошибок. Но, по милости Божией, ошибок не было.

Спокойно прошла следующая неделя, и я спокойно отслужил вторую воскресную всенощную. Вернувшись домой, я читал правило ко Причащению Святых Тайн.

В 11 часов вечера – стук в наружную дверь, обыск и первый мой арест. Я простился с детьми и Софией Сергеевной и в первый раз вошел в «черный ворон», как называли автомобиль ГПУ. Так положено было начало одиннадцати годам моих тюрем и ссылок. Четверо моих детей остались на попечении Софии Сергеевны. Ее и детей выгнали из моей квартиры главного врача и поселили в небольшой каморке, где они могли поместиться только потому, что дети сделали нары и каморка стала двухэтажной. Однако Софию Сергеевну не выгнали со службы, она получала два червонца в месяц и на них кормилась с детьми.

Меня посадили в подвал ГПУ. Первый допрос был совершенно нелепым. Меня спрашивали о знакомстве с совершенно неведомыми мне людьми, о сообществе с оренбургскими казаками, о которых я, конечно, ничего не знал.

Однажды ночью вызвали на допрос, продолжавшийся часа два. Его вел очень крупный чекист, который впоследствии занимал очень видную должность в московском ГПУ. Он допрашивал меня о моих политических взглядах и моем отношении к советской власти. Услышав, что я всегда был демократом, он поставил вопрос ребром: «Так кто же Вы – друг наш или враг наш?» Я ответил: «И друг ваш, и враг ваш; если бы я не был христианином, то, вероятно, стал бы коммунистом. Но вы воздвигли гонение на христианство, и потому, конечно, я не друг ваш».

Меня на время оставили в покое и из подвала перевели в другое, более свободное помещение.

Меня держали в наскоро приспособленном под тюрьму ГПУ большом дворе с окружающими его постройками. На дальнейших допросах мне предъявляли вздорные обвинения в сношениях с оренбургскими казаками и другие выдуманные обвинения.

В годы своего священства и работы главным врачом ташкентской больницы я не переставал писать свои «Очерки гнойной хирургии», которые хотел издать двумя частями и пред-

полагал издать их вскоре: оставалось написать последний очерк первого выпуска – «О гнойном воспалении среднего уха и осложнениях его».

Я обратился к начальнику тюремного отделения, в котором находился, с просьбой дать мне возможность написать эту главу. Он был так любезен, что предоставил мне право писать в его кабинете по окончании его работы. Я скоро окончил первый выпуск своей книги. На заглавном листе я написал: «Епископ Лука. Профессор Войно-Ясенецкий. Очерки гнойной хирургии».

Так удивительно сбылось таинственное и непонятное мне Божие предсказание об этой книге, которое я получил еще в Переславле-Залесском несколько лет назад: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа».

Издать книгу двумя выпусками мне не удалось, и она была напечатана первым, далеко не полным изданием только после первой моей ссылки. Имя епископа, конечно, было выпущено.

В тюрьме меня держали недолго и освободили на один день для того, чтобы я ехал свободно в Москву. Всю ночь моя бывшая квартира главного врача больницы была наполнена прихожанами собора, пришедшими проститься со мною. В это время Ташкентская архиерейская кафедра была уже занята «живоцерковным» митрополитом Николаем, которого я называл лютым вепрем, возлегшим на горнем месте, и запретил иметь с ним общение. Это мое завещание взбесило чекистов.⁴

Утром, простившись с детьми, я отправился на вокзал и занял место не в арестантском, а в пассажирском вагоне. После первого второго и третьего звонков и свистков паровоза поезд минут двадцать не двигался с места. Как я узнал только через долгое время, поезд не мог двинуться по той причине, что толпа народа легла на рельсы, желая удержать меня в Ташкенте, но, конечно, это было невозможно.

⁴ Сохранился полный текст завещания Владыки Луки, составленного, возможно, за несколько часов до ареста: «К твердому и неуклонному исполнению завещаю вам: неколебимо стоять на том пути, на который я наставил вас.

Первая ссылка

В Москве я явился в центральное ГПУ, где после короткого, ничего не значащего допроса мне объявили, что я могу свободно жить в Москве неделю, а потом должен снова явиться в ГПУ. В течение этой недели я дважды был у Патриарха Тихона и один раз служил совместно с ним.

При вторичной явке в ГПУ меня арестовали и отправили в Бутырскую тюрьму. После недельного пребывания в карантине меня поместили в уголовную камеру, в которой, однако, бандиты и жулики относились ко мне довольно прилично. В тюремной больнице я впервые познакомился с Новгородским митрополитом Арсением. В соседней камере, тоже уголовной, находился священник, имевший очень большое влияние на бандитов и жуликов. Влияние этого священника внезапно прекратилось, когда в камеру вошел старик, матерый вор, которого уголовники встретили как своего вождя, с большим почетом.

Подчиняться силе, если будут отбирать от вас храмы и отдавать их в распоряжение дикого вепря, попущением Божиим вознесшегося на горнем месте соборного храма нашего. Внешностью богослужения не соблазняться и поругание богослужения, творимого вепрем, не считать богослужением. Идти в храмы, где служат достойные иереи, вепрю не подчинившиеся. Если и всеми храмами завладеет вепрь, считать себя отлученными Богом от храмов и ввергнутыми в голод слышания слова Божия. С вепрем и его прислужниками никакого общения не иметь и не унижаться до препирательства с ними.

Против власти, поставленной нам Богом по грехам нашим, никак нимало не восставать и во всем ей смиренно повиноваться.

Властью преемства апостольского, данного мне Господом нашим Иисусом Христом, повелеваю всем чадам Туркестанской Церкви строго и неуклонно блюсти мое завещание. Отступающим от него и входящим с вепрем в молитвенное общение угрожаю гневом и осуждением Божиим.

Смиренный Лука».

Нас каждый день выпускали на прогулку в тюремный двор. Возвращаясь со двора на второй этаж, я впервые заметил одышку.

Однажды, к моему большому удивлению, меня вызвали на свидание. Через решетку я разговаривал со своим старшим сыном Мишей. В поисках работы он испытал немало злоключений. В Киеве ему пришлось красить железнодорожный мост, висая в люльке над Днепром.

В библиотеке Бутырской тюрьмы мне, к большой радости, удалось получить Новый Завет на немецком языке, и я усердно читал его. Глубокой осенью большую партию арестантов Бутырской тюрьмы погнали пешком через всю Москву в Таганскую тюрьму. Я шел в первом ряду, а недалеко от меня шел тот матерый вор-старик, который был повелителем шпаны в соседней с моей камере Бутырской тюрьмы.

В Таганской тюрьме меня поместили не со шпаной, а в камере политических заключенных. Все арестанты, в том числе и я, получили небольшие тулупчики от жены писателя Максима Горького. Проходя в клозет по длинному коридору, я увидел через решетчатую дверь пустой одиночной камеры, пол которой по щиколотку был залит водой, сидящего у колонны и дрожащего полуголого шпаненка и отдал ему ненужный мне полушубок. Это произвело огромное впечатление на старика, предводителя шпаны, и каждый раз, когда я проходил мимо уголовной камеры, он очень любезно приветствовал меня и именовал «батюшкой». Позже в других тюрьмах я не раз убеждался в том, как глубоко ценят воры и бандиты простое человеческое отношение к ним.

В Таганской тюрьме я заболел тяжелым гриппом, вероятно вирусным, и около недели пролежал в тюремной больнице с температурой около 40 градусов. От тюремного врача я полу-

чил справку, в которой было написано, что я не могу идти пешком и меня должны везти на подводе. В московских тюрьмах мне пришлось сидеть вместе с протоиереем Михаилом Андреевым, приехавшим из Ташкента вместе со мной. Вместе с ним уехал я и из Москвы в свою первую ссылку в начале зимы 1923 года.

Когда поезд пришел в город Тюмень, был тихий лунный вечер, и мне захотелось пройти в тюрьму пешком, хотя стража предлагала подводу. До тюрьмы было не более версты, но, на мою беду, нас погнали быстрым шагом, и в тюрьму я пришел с сильной одышкой. Пульс был мал и част, а на ногах появились большие отеки до колен.

Это было первое проявление миокардита, причиной которого надо считать возвратный тиф, который я перенес в Ташкенте через год после принятия священства. В Тюменской тюрьме наша остановка продолжалась недолго, около двух недель, и я все время лежал без врачебной помощи, так как единственную склянку дигиталиса получил только дней через двенадцать. В Тюменской тюрьме мы впервые встретились с протоиереем Иларионом Голубятниковым и дальше ехали вместе с ним.

Вторая этапная остановка была в городе Омске, но о ней у меня не осталось никаких воспоминаний. От Омска мы ехали до Новосибирска в «столыпинском» арестантском вагоне, состоявшем из отдельных камер с решетчатыми дверями и узкого коридора с маленькими, высоко расположенными оконцами. В камеру, отведенную для меня и моих спутников – двух протоиереев, посадили, кроме нас, бандита, убившего восемь человек, и проститутку, уходившую по ночам на практику к нашим стражникам.

Бандит знал, что я в Таганской тюрьме отдал свой полушубок дрожавшему шпаненку, и был очень вежлив со мной. Он уверял меня, что никогда нигде меня не обидит никто из их преступной братии. Однако уже в Новосибирской тюрьме при мытье в бане у меня украли несколько сот рублей, а позже, в той же тюрьме, украли чемодан с вещами.

В этой тюрьме нас сначала посадили в отдельную камеру, а вскоре перевели в большую уголовную камеру, где нас шпана встретила настолько враждебно, что я должен был спастись бегством от них: стал стучать в дверь под предлогом необходимости выйти в клозет и, выйдя, заявил надзирателю, что ни в коем случае не вернусь в камеру.

От Новосибирска до Красноярска ехали без особых приключений. В Красноярске нас посадили в большой подвал двухэтажного дома ГПУ. Подвал был очень грязен и загажен человеческими испражнениями, которые нам пришлось чистить, при этом нам не дали даже лопат. Рядом с нашим подвалом был другой, где находились казаки повстанческого отряда. Имени их предводителя я не запомнил, но никогда не забуду оружейных залпов, доносившихся до нас при расстреле казаков. В подвале ГПУ мы прожили недолго, и нас отправили дальше по зимнему пути в город Енисейск за триста двадцать километров к северу от Красноярска.

Об этом пути я мало помню, не забуду только операции, которую мне пришлось произвести на одном из ночлегов крестьянину лет тридцати. После тяжелого остеомиелита (гнойное воспаление костного вещества), никем не леченного, у него торчала из зияющей раны в дельтовидной области вся верхняя треть и головка плечевой кости. Нечем было перевязать его, и рубаха, и постель его всегда были залиты гноем. Я попросил найти слесарные щипцы и ими без всякого затруднения вытащил огромный секвестр.

В Енисейске мы получили хорошую квартиру в доме зажиточного человека и прожили в ней около двух месяцев. К нам присоединился еще один ссыльный священник, и все мы по воскресным и праздничным дням совершали всенощную и Литургию в своей квартире, в которую входила и гостиная. В Енисейске было очень много церквей, но и здесь, как и в Красноярске, священники уклонились в «живоцерковный» раскол, и с ними, конечно, мы не могли молиться. Один диакон сохранил верность Православию, и я рукоположил его во пресвитера.

В один из праздничных дней я вошел в гостиную, чтобы начать Литургию, и неожиданно увидел стоявшего у противоположной двери незнакомого старика-монаха. Он точно остолбе-

нел при виде меня и даже не поклонился. Придя в себя, он сказал, отвечая на мой вопрос, что в Красноярске народ не хочет иметь общения с неверными священниками и решил послать его в город Минусинск, верст за триста к югу от Красноярска, где жил православный епископ, имени его не помню. Но к нему не поехал монах Христофор, ибо какая-то неведомая сила увлекла его в Енисейск ко мне. «А почему же ты так остолбенел, увидев меня?» – спросил я его. «Как было мне не остолбенеть?! – ответил он. – Десять лет тому назад я видел сон, который как сейчас помню. Мне снилось, что я в Божием храме и неведомый мне архиерей рукополагает меня во иеромонаха. Сейчас, когда Вы вошли, я увидел этого архиерея!»

Монах сделал мне земной поклон, и за Литургией я рукоположил его во иеромонаха.

Десть лет тому назад, когда он видел меня, я был земским хирургом в городе Переславле-Залесском и никогда не помышлял ни о священстве, ни об архиерействе. А у Бога в то время я уже был епископом. Так неисповедимы пути Господни.

Мой приезд в Енисейск произвел очень большую сенсацию, которая достигла апогея, когда я сделал экстракцию врожденной катаракты трем слепым маленьким мальчикам-братьям и сделал их зрячими. По просьбе доктора Василия Александровича Башурова, заведовавшего енисейской больницей, я начал оперировать у него и за два месяца жития в Енисейске сделал немало очень больших хирургических и гинекологических операций. В то же время я вел большой прием больных у себя на дому, и было так много желающих попасть ко мне, что в первые же дни оказалось необходимым вести запись больных. Эта запись, начатая в первых числах марта, скоро достигла дня Святой Троицы.

Незадолго до моего приезда в Енисейске был закрыт женский монастырь, и две послушницы этого монастыря рассказали мне, каким кошунством и надругательством сопровождалось это закрытие храма Божия. Дело дошло до того, что комсомолка, бывшая в числе разорвавших монастырь, задрала все свои юбки и села на престол. Этих двух послушниц я постриг в монашество и дал им имена моих небесных покровителей: старшую назвал Лукией, а младшую – Валентиной.

Незадолго до Благовещения я был послан в назначенное мне место ссылки – деревню Хая на реке Чуне, притоке Ангары. Лукия и Валентина с вещами поехали вперед меня, а со мной до районного села Богучаны ехали протоиереи Иларион Голубятников и Михаил Андреев. Ехали мы на лошадях по замерзшему Енисею и Ангаре до Богучан, где нас разлучили, послав протоиереев Голубятникова и Андреева в недалекие от Богучан деревни, а меня за сто двадцать верст, в деревню Хая. В Богучанах я оперировал больного, у которого был нагноившийся эхинококк печени, и через несколько месяцев, возвращаясь из Хаи, нашел его вполне здоровым.

В Богучанах мне указали благочестивого крестьянина в селе Хая, у которого советовали поселиться, но предупреждали, что у него злая старуха-мать. В Хае меня уже ожидали мои монахини поселившиеся у этого крестьянина. Старуха-мать встретила меня с большой радостью. Мне отвели две комнаты, в одной из которых я с монахинями совершал богослужение, а в другой спал. Злая старуха только в первые дни приходила на наше богослужение, а потом не только оставалась на своей половине, но старалась всячески мешать нашим службам.

Злая старуха все больше и больше притесняла нас и стала прямо-таки выживать из дома. Дело дошло до того, что мы с монахинями вынесли из дома свои вещи и сели на них у стены. Видя, что нас выгнали из дома, народ возмутился и заставил старуху принять нас обратно в дом.

В Хае мне довелось оперировать у старика катаракту в исключительной обстановке. У меня был с собой набор глазных инструментов и маленький стерилизатор. В пустой нежилой избе я уложил старика на узкую лавку под окном и в полном одиночестве сделал ему экстракцию катаракты. Операция прошла вполне успешно. За нее я получил десять беличьих шкур, ценившихся по рублю. Довелось мне также совершать и погребение по пасхальному чину одного крестьянина с моими монахинями.

В Хае мы прожили месяца два, и был получен приказ отправить меня снова в Енисейск. Нам дали двух провожатых крестьян и верховых лошадей. Монахини впервые сели на лошадей. Очень крупные оводы так нещадно жалили животных, что струи крови текли по их бокам и ногам. Лошадь, на которой ехала монахиня Лукия, не раз ложилась и каталась по земле, чтобы избавиться от оводов, и сильно придавила ей ногу.

На полдороге до Богучан мы ночевали в лесной избушке, несмотря на требование провожатых ехать дальше всю ночь. На них подействовала только моя угроза, что они будут отвечать перед судом за бесчеловечное обращение со мной, профессором. Не доезжая верст десяти до Богучан прекратилась наша верховая езда. Меня, никогда прежде не ездившего верхом и крайне утомленного, пришлось снимать с лошади моим провожатым. Дальше до Богучан мы ехали на телеге. Затем плыли по Ангаре на лодках, причем пришлось миновать опасные пороги. Вечером, на берегу Енисея, против устья Ангары, мы с монахинями отслужили под открытым небом незабываемую вечерню.

По прибытии в Енисейск я был заключен в тюрьму в одиночную камеру. Ночью я подвергся такому нападению клопов, которого нельзя было и представить себе. Я быстро заснул, но вскоре проснулся, зажег электрическую лампочку и увидел, что вся подушка и постель и стены камеры покрыты почти сплошным слоем клопов. Я зажег свечу и начал поджигать клопов, которые стали падать на пол со стен и постели. Эффект этого поджигания был поразительным. Через час поджигания в камере не осталось ни одного клопа. Они, по-видимому, как-то сказали друг другу: «Спасайся, братцы! Здесь поджигают!» В последующие дни я больше не видел клопов, они все ушли в другие камеры.

В Енисейской тюрьме меня держали недолго и отправили дальше, вниз по Енисею, когда пришел из Красноярска караван, состоявший из небольшого парохода, буксировавшего несколько барж. Меня поместили в одной из этих барж вместе с отправленными в Туруханский край социал-революционерами. Монахини Лукия и Валентина хотели провожать меня, но этого им не позволили.

Путь по широкому Енисею, текущему по безграничной тайге, был скучен и однообразен. На полдороге до Туруханска была небольшая остановка в довольно крупном селении, название которого я не помню. На берегу меня встретила большая группа ссыльных, встречавших каждый пароход в надежде увидеть меня, ибо там как-то прослышали о моей ссылке в Туруханск. Из этой группы ко мне подошел представиться пресвитер ленинградской баптистской общины Шилов, с особым нетерпением ожидавший меня. Позже он приезжал ко мне в Туруханск для долгих бесед.

Немного поодаль стояла другая группа людей, тоже ожидавших меня. Это были тунгусы, все больные трахомой. Одному из них, полуслепому от заворота век, я предложил приехать ко мне в Туруханск в больницу для операции. Он вскоре последовал моему совету, и я сделал ему пересадку слизистой оболочки губы на веки.

В Туруханске, когда я выходил из баржи, толпа народа, ожидавшая меня, вдруг опустилась на колени, прося благословения. Меня сразу же поместили в квартире врача больницы и предложили вести врачебную работу. Незадолго до этого врач больницы, поздно распознав у себя рак нижней губы, уехал в Красноярск где ему была сделана операция, уже запоздалая, как оказалось впоследствии. В больнице оставался фельдшер, и вместе со мной приехала сестра из Красноярска – молодая девушка, только что окончившая фельдшерскую школу и очень волновавшаяся от перспективы работать с профессором. С этими двумя помощниками я делал такие большие операции, как резекция верхней челюсти, большие чревосечения, гинекологические операции и немало глазных.

Уже начинался ледоход на Енисее, когда, к моему удивлению, приехал ко мне на лодке за семьсот верст ленинградский пресвитер баптистов Шилов. Шилов предпринял этот опасный, тяжелый путь только ради бесед со мною. Раньше его в Туруханск приехал маленький

тщедушный еврейчик, который из Америки приехал в Москву под видом коммуниста, но чем-то возбудил подозрение и был заключен в упраздненный Соловецкий монастырь.

Этот еврейчик однажды присутствовал при моей беседе с Шиловым, и я по его просьбе разрешил ему присутствовать на наших беседах, которые продолжались дня три по несколько часов ежедневно. Шилов просил меня разобрать целый ряд текстов Священного Писания, и, конечно, я разъяснил их в православном духе. Но странным образом оказалось, как увидим в дальнейшем, Шилов счел меня убежденным в правоте баптизма. Наши беседы закончились. Шилов успел вернуться в Красноярск на каком-то запоздавшем пароходе.

В Туруханске был закрытый мужской монастырь, в котором, однако, старик-священник совершал все богослужения. Он подчинялся красноярскому «живоцерковному» архиерею, и мне надо было обратиться к нему и всю туруханскую паству на путь верности древнему Православию. Достигнуть этого удалось проповедью о великом грехе церковного раскола: священник принес покаяние перед народом, и я мог бывать на церковных службах и почти всегда проповедовал на них. Туруханские крестьяне были мне глубоко благодарны и привозили меня в монастырь и домой на устланных коврами саях. В больнице, конечно, я не отказывал никому в благословении, которое очень ценили тунгусы и всегда просили. За это и за церковные проповеди мне пришлось дорого заплатить.

Меня предупреждали, что председатель Туруханского краевого совета – большой враг и ненавистник религии. Это, однако, не мешало ему возопить к Богу о спасении, когда он попал в жестокую бурю на Енисее на небольшой лодке. По требованию этого председателя меня вызвал уполномоченный ГПУ и объявил, что мне строго запрещается благословлять больных в больнице, проповедовать в монастыре и ездить в него на покрытых коврами саях. Я ответил, что по архиерейскому долгу не могу отказывать людям в благословении, и предложил ему самому повесить на больничных дверях объявление о запрещении больным просить у меня благословения. Этого, конечно, он сделать не мог. О поездках в церковь я тоже ему предложил запретить крестьянам подавать мне сани, устланные коврами. Этого он тоже не сделал.

Однако недолго терпели мою твердость. Здание ГПУ находилось совсем рядом с больницей. Меня вызвали туда, и у входной двери я увидел сани, запряженные парой лошадей, и милиционера. Уполномоченный ГПУ встретил меня с большой злобой и объявил, что за неподчинение требованиям исполкома я должен немедленно уехать дальше из Туруханска и на сборы мне дается полчаса. Я только спросил спокойно: куда же именно высылают меня? И получил раздраженный ответ: «На Ледовитый океан».

Я спокойно ушел в больницу, и за мной последовал милиционер. Он шепнул мне на ухо: «Пожалуйста, пожалуйста, профессор, собирайтесь как можно быстрее: нам нужно только выехать отсюда и поскорее доехать до ближайшей деревни, а дальше поедem спокойно». Скоро мы добрались до недалекой от Туруханска деревни Селиванихи, получившей свое название от фамилии главаря секты скопцов Селиванова, отбывавшего в ней свою ссылку.

Скоро собрались мои компаньоны по ссылке – социал-революционеры, с большим интересом относившиеся ко мне и долго беседовавшие со мной. Они снабдили меня деньгами и меховым одеялом, которое очень пригодилось мне.⁵ После ночлега в съезжей избе поехали дальше.

Путь по замерзшему Енисею в сильные морозы был очень тяжел для меня. Однако именно в это трудное время я очень ясно, почти реально ощущал, что рядом со мною Сам Господь Бог Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня.

⁵ Еврей из Белоруссии, эсер Розенфельд, был принципиальным атеистом и материалистом. На этой почве у него с епископом не раз происходили горячие схватки. Но как только Розенфельд узнал о ссылке Войно-Ясенецкого, он принялся обходить дома своих товарищей-эсеров и собрал в конце концов целую охапку теплых вещей и даже немного денег.

Ночуя в прибрежных станках, мы доехали до Северного полярного круга, за которым стояла деревушка, название которой я не помню. В ней жил в ссылке И. В. Сталин.

Когда мы вошли в избу, хозяин ее протянул мне руку. Я спросил: «Ты разве не православный? Не знаешь, что у архиерея просят благословения, а не руку подают?» Это, как позже выяснилось, произвело очень большое впечатление на конвоировавшего меня милиционера. Он и раньше, на пути от Селиванихи до следующего станка, говорил мне: «Я чувствую себя в положении Малюты Скуратова, везущего митрополита Филиппа в Отрочь монастырь».

Следующий наш ночлег был в станке из двух дворов, в котором жил суровый старик Афиноген со своими четырьмя сыновьями на положении средневекового феодального барона. Он присвоил себе исключительное право на ловлю рыбы в Енисее на протяжении сорока километров, и никто не смел оспаривать это право. Младший из сыновей старика являл собою необыкновенный пример патологической лени. Он отказывался от всякой работы и по целым дням лежал. Его много раз свирепо, до полусмерти избивали, но ничего не помогало. Старик Афиноген считал себя примерным христианином и любил читать Священное Писание. До поздней ночи я беседовал с ним, разясняя то, что он понимал неправильно.

Дальнейший путь был еще более тяжел. Один из следующих станков недавно сгорел. Мы не могли остановиться в нем на ночь и с трудом достали оленей, ослабевших от недостатка корма. На них пришлось ехать до следующего станка. Проехав без остановки не менее семи-десяти верст, я очень ослабел и так заоченел, что меня на руках внесли в избу и там долго отогревали. Дальнейший путь до станка Плахино, отстоявшего за двести тридцать километров от Полярного круга, прошел без приключений. Моему комсомольцу, как он мне сказал, было поручено самому избрать для меня место ссылки, и он решил оставить меня в Плахино.

Это был совсем небольшой станок, состоявший из трех изб и еще двух больших, как мне показалось, груд навоза и соломы, которые в действительности были жилищами двух небольших семей. Мы вошли в главную избу и вскоре сюда же вошли вереницей очень немногочисленные жители Плахино. Все низко поклонились, и председатель станка сказал мне: «Ваше Преосвященство! Не извольте ни о чем беспокоиться, мы все для Вас устроим». Он представил мне одного за другим мужиков и женщин, говоря при этом: «Не извольте ни о чем беспокоиться. Мы уже все обсудили. Каждый мужик обязуется поставлять Вам полсажени дров в месяц. Вот эта женщина будет Вам готовить, а эта будет стирать. Не извольте ни о чем беспокоиться». Все просили у меня благословения и показали приготовленное для меня помещение в другой избе, разделенной на две половины. В одной половине жил молодой крестьянин со своей женой. Их переселили в другую половину избы, потеснив живших там. Мой конвоир-комсомолец очень внимательно наблюдал за всей сценой знакомства моего с жителями станка. Он должен был сейчас уехать ночевать в торговую факторию, находившуюся в нескольких километрах от Плахино. Было видно, что он взволнован предстоящим прощанием со мной. Но я вывел его из затруднения, благословив и поцеловав его. Это, как увидим в дальнейшем повествовании, произвело на него сильное впечатление.

Я остался один в своем помещении. Это была довольно просторная половина избы с двумя окнами, в которых вместо вторых рам были снаружи приморожены плоские льдины. Щели в окнах не были ничем заклеены, а в наружном углу местами был виден сквозь большую щель дневной свет. На полу в углу лежала куча снега. Вторая такая же куча, никогда не таявшая, лежала внутри избы у порога входной двери. Для ночлега и дневного отдыха крестьяне соорудили широкие нары и покрыли их оленьими шкурами. Подушка была у меня с собой. Вблизи нары стояла железная печурка, которую на ночь я наполнял дровами и зажигал, а лежа на нарах, накрывался своей енотовой шубой и меховым одеялом которое подарили мне в Селиванихе. Ночью меня пугали вспышки пламени в железной печке, а утром, когда я вставал со своего ложа, меня охватывал мороз, стоявший в избе, от которого толстым слоем льда покрывалась вода в ведре.

В первый же день я принялся заклеивать щели в окне клейстером и толстой оберточной бумагой от покупок, сделанных в фактории, и ею же пытался закрыть щель в углу избы. Весь день и ночь я топил железную печку. Когда сидел тепло одетым за столом, то выше пояса было тепло, а ниже – холодно. Однажды мне пришлось помыться в таком холоде. Мне принесли таз и два ведра воды: одно – холодной, с кусками льда, а другое – горячей, и не понимаю, как я умудрился помыться в таких условиях. Иногда по ночам меня будил точно сильнейший удар грома, но это был не гром, а трескался лед поперек всего широкого Енисея.

Недолго я получал пищу от бабы, которая обязалась стряпать для меня: она подралась со своим любовником и отказалась готовить мне пищу. Мне пришлось первый раз в жизни попросить самому готовить себе пищу, о чем я не имел никакого понятия. Рыбу мне приносили крестьяне, а другие продукты покупали в фактории. Не помню уже, какой курьез получился у меня при попытке изжарить рыбу, но хорошо помню, как я варил кисель. Я сварил клюкву и стал подливать в нее жидкий крахмал; сколько я ни лил, мне все казалось, что кисель жидок, я продолжал лить крахмал, пока кисель не превратился в твердую массу. Потерпев такое фиаско со своей кулинарией, я должен был спасовать, и надо мной сжалилась другая баба и стала стряпать для меня.

У меня был с собой Новый Завет, с которым я не расставался и в ссылках своих. И в Плахине я предложил крестьянам читать и объяснять им Евангелие. Они как будто с радостью откликнулись на это, но радость была недолгая: с каждым новым чтением слушателей становилось все меньше и меньше, и вскоре прекратились мои чтения и проповедь.

Расскажу еще об одном Божием деле, которое мне пришлось совершить в Плахине. Теперь, когда пишу эти воспоминания, я уже более тридцати семи лет в священном сане и более тридцати пяти лет в архиерейском, но, как это ни странно, я крестил только трех детей: одного близкого к смерти – сокращенным чином и двух других – совершенно необыкновенным образом.

Как я уже говорил, в станке кроме трех изб, было два человеческих жилья, одно из которых я принял за стог сена, а другое – за кучу навоза. Вот в этом последнем мне и пришлось крестить. У меня не было ничего: ни облачения, ни требника, и за неимением последнего я сам сочинил молитвы, а из полотенца сделал подобие епитрахили. Убогое человеческое жилье было так низко, что я мог стоять только согнувшись. Купелью служила деревянная кадка, а все время совершения Таинства мне мешал теленок, вертевшийся возле купели. (И теперь мне, архиерею, крестить не приходится, ибо крестят мои священники).

В Плахине часто бывают очень сильные морозы, и там не живут вороны и воробьи, потому что при таком холоде они могут замерзнуть на лету и камнем упасть на землю. За два месяца моей жизни в Плахине я только один раз увидел сидевшую на кусте маленькую птичку, похожую на большой комок розового пуха. Однажды мне пришлось испытать крайне тяжелый мороз, когда несколько дней подряд беспрестанно дул северный ветер, называемый тамошними жителями «сивер». Это тихий, но не перестающий ни ночью, ни днем леденящий ветер, который едва переносят лошади и коровы. Бедные животные день и ночь неподвижно стоят, повернувшись задом к северу.

На чердаке моей избы были развешены рыболовные сети с большими деревянными поплавками. Когда дул «сивер», поплавки непрестанно стучали, и этот стук напоминал мне музыку Грига «Пляска мертвецов». Мне, конечно, всегда приходилось выходить днем и ночью из избы по естественным надобностям на снег и мороз. Это было крайне трудно и в обычное время, но когда дул «сивер», положение становилось отчаянным. В Плахине прожил я немного более двух месяцев – до начала марта, и проезжих в этом станке никого так и не было.

Только в начале марта Господь неожиданно послал мне избавление. В начале Великого поста в Плахино приехал нарочный из Туруханска и привез мне письмо, в котором уполномоченный ГПУ вежливо предлагал мне вернуться в Туруханск. Я не понимал, что случилось,

почему меня возвращают в Туруханск, и узнал только вернувшись туда. Оказалось, что в туруханской больнице умер крестьянин, нуждавшийся в неотложной операции, которой без меня не могли сделать. Это так возмутило туруханских крестьян, что они вооружились вилами, косами и топорами и решили устроить погром ГПУ и сельсовета. Туруханские власти были так напуганы, что немедленно послали ко мне гонца в Плахино.

Обратный путь в Туруханск был не слишком трудным, и только в станке Афиногена мне пришлось испытать неприятности. Отвезти меня в станок, где жил Сталин, Афиноген послал одного из своих сыновей. Лошадь шла все время шагом, и ямщик не хотел погонять ее. Я не стерпел этого, вырвал из рук ямщика вожжи и стал хлестать лошадь. Ямщик соскочил с саней и побежал обратно. Мне ничего не оставалось делать, как повернуть лошадь и ехать шагом к избе Афиногена. Этот «истинный христианин» крайне грубо изругал меня, архиерея, но гнев его тотчас утих, когда он получил от меня золотую пятирублевую монету. Он дал мне пару хороших лошадей, а ямщиком – другого сына своего.

На одном из следующих станков я испытал поездку на собаках: шесть здоровенных сибирских псов были запряжены в нарты. Они бежали хорошо, но вдруг одна из них укусила другую, другая третью, и все свалились в дерущуюся кучу. Ямщик соскочил и стал лупить собак деревянным шестом, который служил ему для управления собаками. Порядок был восстановлен, и собаки благополучно довели нас до места назначения.

Первым, кто встретил меня в Туруханске с распростертыми объятиями и неподдельной радостью, был тот самый милиционер-комсомолец, который вез меня из Туруханска в Плахино.

Я опять начал работу в больнице. Уполномоченный ГПУ, с большой злобой и скрежетом зубов выславший меня из Туруханска на север вниз по Енисею за мое неподчинение, встретил меня изысканно вежливо, осведомлялся о моем здоровье и житье в Плахино.

Однажды случился пикантный инцидент. Уполномоченный по какому-то делу пришел ко мне в больницу. Во время моего разговора с ним отворилась дверь, и в комнату вошла целая вереница тунгусов со сложенными руками для принятия моего благословения. Я встал и всех благословил, а уполномоченный сделал вид, что не замечает этого. И в монастырь я, конечно, продолжал ездить на санях, покрытых ковром.

Это мое второе пребывание в Туруханске длилось восемь месяцев: от Благовещения Пресвятой Богородицы до ноября.⁶

В середине лета, не помню точно, в какой форме, я имел, как мне казалось, предсказание от Бога о скором возвращении из туруханской ссылки. Я ждал с нетерпением исполнения этого обещания, но шли недели за неделями, и все оставалось по-прежнему. Я впал в уныние, и однажды в алтаре зимней церкви, которая сообщалась дверью с летней церковью, со слезами молился пред запрестольным образом Господа Иисуса Христа. В этой молитве, очевидно, был и ропот против Господа Иисуса за долгое невыполнение обещания об освобождении. И вдруг

⁶ В то время Владыка Лука писал знаменитому физиологу, глубоко верующему человеку академику Павлову: «Возлюбленный во Христе брат мой и глубокоуважаемый коллега, Иван Петрович! Изгнанный за Христа на край света (три месяца прожил я на 400 верст севернее Туруханска), почти совсем оторванный от мира, я только что узнал о прошедшем чествовании Вас по поводу 75-летия Вашей славной жизни и о предстоящем торжестве 200-летия Академии наук. Прошу Вас принять и мое запоздалое приветствие. Славлю Бога, давшего Вам столь великую силу ума и благословившего труды Ваши. Низко кланяюсь Вам за великий труд Ваш. И кроме глубокого уважения моего, примите любовь мою и благословение мое за благочестие Ваше, о котором до меня дошел слух от знающих Вас. Сожалею, что не может поспеть к академическому торжеству приветствие мое. Благодать и милость Господа нашего Иисуса Христа да будет с Вами. Смиренный Лука, епископ Ташкентский и Туркестанский (б. профессор топографической анатомии и оперативной хирургии Ясенецкий-Войно). Туруханск. 28.08.1925». Это письмо было написано на вырванном тетрадном листке, сверху чернилами поставлен крест. В ответ на поздравление епископа Луки И. П. Павлов написал в Туруханск: «Ваше Преосвященство и дорогой товарищ! Глубоко тронут Вашим теплым приветом и приношу за него сердечную благодарность. В тяжелое время, полное неотступной скорби для думающих и чувствующих, чувствующих – по-человечески, остается одна жизненная опора – исполнение по мере сил принятого на себя долга. Всей душой сочувствую Вам в Вашем мученичестве. Искренне преданный Вам Иван Павлов».

я увидел, что изображенный на иконе Иисус Христос резко отвернул Свой пречистый лик от меня. Я пришел в ужас и отчаяние и не смел больше смотреть на икону. Как побитый пес пошел я из алтаря в летнюю церковь, где на клиросе увидел книгу Апостол. Я машинально открыл ее и стал читать первое, что попало мне на глаза.

К большой скорби моей, я не запомнил текста, который прочел, но этот текст произвел на меня прямо-таки чудесное действие. Им обличалось мое неразумие и дерзость ропота на Бога и вместе с тем подтверждалось обещание освобождения, которого я нетерпеливо ожидал.

Я вернулся в алтарь зимней церкви и с радостью увидел, глядя на престольный образ, что Господь Иисус опять смотрит на меня благодатным и светлым взором.

Разве же это не чудо?!

Перед второй ссылкой

Приближался конец моей туруханской ссылки. С низовьев Енисея приходили один за другим пароходы, привозившие моих многочисленных товарищей по ссылке, одновременно со мной получивших тот же срок. Наш срок кончился. И эти последние пароходы должны были отвезти нас в Красноярск. В одиночку и группами приходили пароходы изо дня в день. А меня не вызывали в ГПУ для получения документов.

Однажды вечером в конце августа пришел последний пароход и наутро должен был уйти. Меня не вызывали, и я волновался, не зная, что было предписание задержать меня еще на год.

Утром 20 августа я по обыкновению читал утреню, а пароход разводил пары. Первый протяжный гудок парохода... Я читаю четвертую кафизму Псалтири... Последние слова тридцать первого псалма поражают меня как гром... Я всем существом воспринимаю их как голос Божий, обращенный ко мне. Он говорит: *Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе* (Пс. 31, 8–9).

И внезапно наступает глубокий покой в моей смятенной душе... Пароход дает третий гудок и медленно отчаливает. Я слежу за ним с тихой и радостной улыбкой, пока он не скрывается от взоров моих. «Иди, иди, ты мне не нужен... Господь уготовал мне другой путь, не путь в грязной барже, которую ты ведешь, а светлый архиерейский путь!»

Через три месяца, а не через год Господь повелел отпустить меня, послав мне маленькую варикозную язву голени с ярким воспалением кожи вокруг нее. Меня обязаны были отпустить в Красноярск.

Енисей замерз в хаотическом нагромождении огромных льдин. Санный путь по нему должен был установиться только в середине января. Только один из ссыльных – эсер Чудинов – был задержан при отходе последних пароходов и должен был ехать вместе со мной. К нему в ссылку приехала жена с десятилетней дочерью.

В последнее время я постоянно замечал в церкви стоявшего у двери Чудинова, который внимательно слушал мои проповеди. По Енисею возили только на нартах, но для меня крестьяне сделали крытый возок. Настал долгожданный день отъезда... Я должен был ехать мимо монастырской церкви, стоявшей на выезде из Туруханска, в которой я много проповедовал и иногда даже служил. У церкви меня встретил священник с крестом и большая толпа народа.

Священник рассказал мне о необыкновенном событии. По окончании Литургии в день моего отъезда вместе со старостой он потушил в церкви все свечи, но когда, собираясь провожать меня, вошел в церковь, внезапно загорелась одна свеча в паникадиле, с минуту померцала и потухла.

Так проводила меня любимая мною церковь, в которой под спудом лежали мощи святого мученика Василия Мангазейского.

Тяжкий путь по Енисею был тем светлым архиерейским путем, о котором при отходе последнего парохода предсказал мне Сам Бог словами псалма тридцать первого: *Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою*. Буду смотреть, как ты пойдешь этим путем, а ты не рвись на пароход, как конь или мул, не имеющий разума, которого надо направлять удилами и уздою.

Мой путь по Енисею был поистине архиерейским путем, ибо на всех тех остановках, в которых были приписные церкви и даже действующие, меня встречали колокольным звоном и я служил молебны и проповедовал.

А с самых дальних времен архиерея в этих местах не видали.

В большом селе, не доезжая 400 верст до Енисейска, меня предупредили, что дальше ехать нельзя – опасно, так как на Енисее образовалась широкая трещина во льду, а у берегов вода широко вышла поверх льда, образовав так называемые «забереги», да и дороги в прибрежной тайге не было. Но мы все-таки поехали.

Доехали до широкой трещины через всю реку шириною больше метра. Увидели, что в ней тонет лошадь с санями, которую тщетно старается вытащить бедная женщина. Помогли ей и вытащили лошадь с санями, а сами призадумались, что делать. Мой ямщик, лихой кудрявый парень, а за ним и ямщик Чудинова не колебались. Они только сказали: «Держись крепче!», стали во весь рост, дико заорали на лошадей и нахлестали их; лошади рванулись из всей мочи – и перескочили через полынью, а за ними перелетели по воздуху и наши сани.

От Туруханска до Красноярска мы ехали полтора месяца. За день проезжали расстояние от станка до станка – в среднем сорок верст. Я был одет в меховые тунгусские одежды и ноги закрывал енотовой шубой. Однажды ямщик просил меня подержать вожжи, пока поправит упряжь на лошадях. На руках у меня были кроличьи рукавицы, но как только я вынул руки из под шубы и взял вожжи, руки обожгло как огнем, так жесток был мороз.

В некоторых станках ко мне приходили мои прежние пациенты, которых я оперировал в Туруханске. Особенно запомнился старик-тунгус, полуслепой от трахомы, которому я исправил заворот век пересадкой слезистой оболочки. Результат операции был так хорош, что он по-прежнему стреляет белок, попадая прямо в глаз. Мальчик, оперированный по поводу крайне запущенного остеомиелита бедра, пришел ко мне здоровым. Были и другие подобные встречи.

Мы благополучно доехали до Енисейска, в котором духовенство, прежде бывшее сплошь обновленческим, но обращенное мною на путь правды перед моим отъездом в Туруханск, устроило мне торжественную встречу. Отслужили благодарственный молебен и, проехав еще триста тридцать верст, приехали в Красноярск, за два дня до праздника Рождества Христова.

В Красноярске в ожидании моего приезда осенью народ во множестве тщетно встречал каждый пароход с низовьев Енисея. И теперь встретить меня им не удалось.

Мы направились к епископу Амфилохию. Его келейник, монах Мелетий, был слеп на один глаз вследствие центрального бельма роговицы, и надо было сделать ему оптическую иридэктомию (иссечение кусочка радужной оболочки). Я послал его к главному врачу больницы с письмом, в котором просил разрешения мне сделать эту операцию в глазном отделении. Просьбу эту охотно исполнили, и на другой день, приехав с Мелетием в больницу, я неожиданно увидел в глазном отделении целую толпу врачей, пришедших посмотреть на мою операцию.

Быстро покончив с иридэктомией, я выразил сожаление о том, что не могу показать врачам операции удаления слезного мешка, гораздо более интересной для них. Но тотчас мне сказали, что есть в больнице больной, ожидающий этой операции. Быстро приготовили его, и я рассказал врачам, как производжу эту операцию.

Я начал с подробного описания топографической анатомии слезного мешка, рассказал о своем способе регионарной анестезии и, начав операцию, шаг за шагом демонстрировал им все, что только что рассказал. Операция прошла без всякой боли и почти совсем бескровно.

На другой день мы с Чудиновым должны были явиться в ГПУ и в коридоре второго этажа ожидали вызова. Меня первым вызвали на третий этаж. Допрос вежливо начал молодой чекист, но вскоре вошел помощник начальника ГПУ, оборвал допрос и поручил его другому. Этот вынул допросный лист и стал спрашивать меня о моих строптивых и смелых пререканиях с туруханским уполномоченным ГПУ. Я отвечал так, что не оправдывался, а сам обвинял уполномоченного и председателя районного исполкома. Записывавший мои ответы чекист смутился и был в явном замешательстве.

Опять вошел помощник начальника ГПУ, через плечо допрашивавшего чекиста прочел его записи и бросил их в ящик стола. К моему удивлению, он вдруг переменил свой прежний

резкий тон и, показывая в окно на обновленческий собор, сказал мне: «Вот этих мы презираем, а таких, как Вы, – очень уважаем». Он спросил меня, куда я намерен ехать, и удивил меня этим. «Как, разве я могу ехать куда хочу?» – «Да, конечно». – «И даже в Ташкент?» – «Конечно, и в Ташкент. Только, прошу Вас, уезжайте как можно скорее». – «Но ведь завтра великий праздник Рождества Христова, и я непременно должен быть в церкви». На это с трудом согласился начальник, но просил меня непременно уехать после Литургии. «Вы получите билет на поезд, и Вас отвезут на вокзал. Пожалуйста, пожалуйста, мы отвезем Вас». Он очень вежливо провожает меня вместе с допрашивавшим чекистом вниз, в тот памятный мне двор, из которого одна дверь вела в большой подвал, загаженный испражнениями, в котором я и мои спутники содержались до отправки в Енисейск, а другая дверь вела в другой подвал, в котором при нас производились расстрелы.

В этом дворе начальник с изысканной вежливостью усадил меня в автомобиль, а чекисту велел проводить меня до квартиры, в которой я остановился.

Я по опыту знал, как опасно верить словам чекистов, и с тревогой ждал, куда повернет автомобиль в том месте, где дорога налево ведет к тюрьме, а дорога направо – к православному собору. У ворот дома чекист позвонил и вышедшей хозяйке сказал, чтобы она не заботилась о моей прописке. Вежливо откланявшись мне, он уехал, а я пошел через улицу в собор, при котором жил Преосвященный Амфилохий.

Уже в начале моей беседы с ним вошел с докладом монах Мелетий, говоря, что прибежал какой-то тяжело запыхавшийся господин и просит позволения видеть меня. Как я тотчас догадался, это был Чудинов, с тревогой бежавший за автомобилем, в котором везли меня, и, как и я, мучительно ожидавший, повернет ли машина направо к собору или пойдет налево – в тюрьму.

Получив разрешение от Преосвященного Амфилохия, в комнату вбежал Чудинов, взволнованный до крайности, и, рыдая, бросился на колени к моим ногам. Получив благословение от меня и епископа Амфилохия, он просил нас обоих молиться об упокоении души его десятилетней дочери, скоропостижно скончавшейся в Туруханске.

После рождественской всенощной и Литургии, которую я служил совместно с Красноярским епископом Амфилохием, мне подали пароконный фаэтон из ГПУ и с Чудиновым я отправился на вокзал. На полдороге вдруг нас остановил молодой милиционер, вскочил на подножку и стал обнимать и целовать меня. Это был тот самый милиционер, который вез меня из Туруханска в станок Плахино, за 230 верст к северу от Полярного круга.

На вокзале меня уже ждала большая толпа народа, пришедшая проводить меня.

В Ташкент я возвращался через город Черкассы Киевской области, где жили мои родители и старший брат Владимир. Из Красноярска я довольно благополучно доехал до Черкасс.

Я ехал вместе с Чудиновым, и в Омске мне надо было дать телеграмму в Черкассы. Остановка была короткая, а телеграф помещался на верхнем этаже, и я не успел сбежать вниз, как поезд тронулся дальше. Чудинов, по моей телеграмме, оставил мои вещи на следующей станции, где я и получил их, но со своим добрым спутником, ехавшим в Архангельскую область, я больше не встречался.

Трогательна была встреча моих престарелых родителей с сыном – профессором хирургии, ставшим епископом. С любовью целовали они руку своего сына, со слезами слушали панихиду, которую я служил над могилой умершей сестры моей Ольги.

Из Черкасс я, наконец, вернулся в Ташкент. Это было в конце января 1926 года. В Ташкенте я остановился в квартире, в которой жила София Сергеевна Велецкая с моими детьми, которых она питала, и воспитывала, и обучала в школах во время моей ссылки.

Первыми пришедшими ко мне с поздравлениями были четыре главных члена баптистской общины. Они держались явно смущенно, а для меня была непонятна цель их визита. Позже я узнал, что они получили телеграмму от Ленинградского баптистского пресвитера

Шилова, в которой он поручал им приветствовать меня как нового брата баптистов. Пришлось, конечно, разочаровать их в этом через некоего Наливайко, прежде усердного прихожанина кафедрального собора, перешедшего потом в баптистскую общину.

В это время кафедральный собор был уже разрушен, и в церкви преподобного Сергия Радонежского несколько раз служил ссыльный епископ, перешедший в обновленчество во время моей ссылки.

Протоиерей Михаил Андреев, разделявший со мною тяготы ссылки в Енисейский край и дальше в Богучаны и возвратившийся незадолго до меня, требовал, чтобы я освятил Сергиевский храм после епископа, перешедшего в обновленчество. Я отказался исполнить это требование, и это послужило началом тяжелых огорчений. Протоиерей Андреев вышел из подчинения мне и начал служить у себя на дому для небольшой группы своих единомышленников.

Он неоднократно писал обо мне Патриаршему Местоблюстителю митрополиту Сергию и даже ездил к нему и сумел восстановить против меня Местоблюстителя, от которого в сентябре того же года я получил три быстро следовавших один за другим указа о переводе меня с епархиальной Ташкентской кафедры в город Рыльск Курской области викарием, потом – в город Елец викарием Орловского епископа и, наконец, в Ижевск епархиальным епископом.

Я хотел безропотно подчиниться этим переводам, но митрополит Новгородский Арсений, живший тогда в Ташкенте на положении ссыльного и бывший в большой дружбе со мной и моими детьми, настойчиво советовал мне никуда не ехать, а подать прошение об увольнении на покой.

Мне казалось, что я должен последовать совету маститого иерарха, бывшего одним из трех кандидатов на Патриарший престол на Соборе 1917 года. Я последовал его совету и был уволен на покой в 1927 году. Это было началом греховного пути и Божиих наказаний за него. Меня как епископа Ташкентского заменил митрополит Никандр, также бывший ташкентским ссыльным.

Занимаясь только приемом больных у себя на дому, я, конечно, не переставал молиться в Сергиевском храме на всех богослужениях, вместе с митрополитом Арсением стоя в алтаре.

Весной 1930 года стало известно, что и Сергиевская церковь предназначена к разрушению. Я не мог стерпеть этого, и когда приблизилось назначенное для закрытия церкви время и уже был назначен страшный день закрытия ее, я принял твердое решение: отслужить в этот день последнюю Литургию и после нее, когда должны будут явиться враги Божии, запереть церковные двери, снять и сложить грудой на середине церкви все крупнейшие деревянные иконы, облить их бензином, в архиерейской мантии взойти на них, поджечь бензин спичкой и сгореть на костре... Я не мог стерпеть разрушения храма... Оставаться жить и переносить ужасы осквернения и разрушения храмов Божиих было для меня совершенно нестерпимо. Я думал, что мое самосожжение устроит и вразумит врагов Божиих – врагов религии – и остановит разрушение храмов, колоссальной диавольской волной разлившееся по всему лицу земли Русской.

Однако Богу было угодно, чтобы я не погиб в самом начале своего архиерейского служения, и по Его воле закрытие Сергиевской церкви было почему-то отложено на короткий срок. А меня в тот же день арестовали.

23 апреля 1930 года я был в последний раз на Литургии в Сергиевском храме и при чтении Евангелия вдруг с полной уверенностью утвердился в мысли, что в этот же день вечером буду арестован. Так и случилось, и церковь разрушили, когда я был в тюрьме.

В своей знаменитой пасхальной проповеди святитель Иоанн Златоуст говорит, что Бог не только «дела приемлет», но и «намерения целует». За мое намерение принять смерть мученическую да простит мне Господь Бог множество грехов моих!

Архангельская ссылка

23 апреля 1930 года я был вторично арестован.

На допросах я скоро убедился, что от меня хотят добиться отречения от священного сана. Тогда я объявил голодовку протеста. Обычно на заявления о голодовке не обращают внимания и оставляют заключенных голодать в камере, пока состояние их не станет опасным, и только тогда переводят в тюремную больницу. Меня же послали в больницу уже рано утром после подачи заявления о голодовке. Я голодал семь дней. Быстро нарастала слабость сердца, а под конец появилась рвота кровью. Это очень встревожило главного врача ГПУ, каждый день приезжавшего ко мне. На восьмой день голодовки около полудня я задремал и сквозь сон почувствовал, что около моей постели стоит группа людей. Открыв глаза, увидел группу чекистов и врачей и известного терапевта, профессора Слонима. Врачи исследовали мое сердце и шепнули главному чекисту, что дело плохо. Было приказано нести меня с кроватью в кабинет тюремного врача, где не позволили остаться даже профессору Слониму.

Главный чекист сказал мне: «Позвольте представиться. Вы меня не знаете, я заместитель начальника Средне-Азиатского ГПУ. Мы очень считаемся с Вашей большой двойной популярностью – крупного хирурга и епископа. Никак не можем допустить продолжения Вашей голодовки. Даю Вам честное слово политического деятеля, что Вы будете освобождены, если прекратите голодовку». Я молчал. «Что же Вы молчите? Вы не верите мне?» Я ответил: «Вы знаете, что я христианин, а закон Христов велит нам ни о ком не думать дурно. Хорошо, я поверю Вам».

Меня отнесли не на прежнее место, а в большую пустую больничную камеру. Загремел замок, и мне казалось, что я остался один. Но вдруг услышал глухие, все усиливающиеся рыдания и спросил: «Кто плачет? О чем плачете?» И услышал прерывающиеся рыданиями слова: «Как же мне не плакать, видя Вас? Ведь мы уже давно напряженно следим за Вашей судьбой и высоко ценим Ваш подвиг. Я член центрального комитета партии социалистов-революционеров».

Не успел он кончить, как загремел замок и в камеру вошел начальник секретного отдела ГПУ. Он сказал эсеру, что его повезут в Самарканд, где он был арестован, и там освободят. Даже опытный в делах ГПУ эсер поверил этому. Он голодал уже девятнадцатый день и дошел до того состояния расслабления воли к сопротивлению, жалости к себе и страха смерти, которые неизбежны у долго голодающих. Его на несколько дней оставили в Самарканде и, конечно, не освободили, а увезли в Москву. Не знаю, что было дальше с ним.

Меня, конечно, тоже не освободили, вопреки честному слову «политического деятеля».

Дня два-три я получал обильные передачи от своих детей, а потом отказался от них и возобновил голодовку. Она продолжалась две недели, и я дошел до такого состояния, что едва мог ходить по больничному коридору, держась за стены. Пробовал читать газету, но ничего не понимал, ибо точно тяжелая пелена лежала на мозгу.

Опять приехал ко мне помощник начальника секретного отдела и сказал: «Мы сообщили о Вашей голодовке в Москву, и оттуда пришло решение Вашего дела, но мы не можем объявить его Вам, пока Вы не прекратите голодовку». Еще теплился у меня остаток веры в слова чекистов, и я согласился прекратить голодовку. Тогда мне объявили, что я должен ехать в город Котлас не по этапу, а свободно; но и на этот раз я был обманут. Приблизительно через неделю я был отправлен по этапу и ехал в арестантском вагоне до Самары, где нас оставили в тюрьме приблизительно на неделю. Воспоминания об этой неделе остались у меня мрачные и тяжелые.

Пересадка в Москве в другой арестантский вагон и путь дальнейший до города Котласа.

В вагоне было такое множество вшей, что я утром и вечером снимал с себя все белье и каждый день находил в нем около сотни вшей; среди них были никогда невиданные мною

очень крупные черные вши. В пути мы получали по куску хлеба и по одной сырой селедке на двоих. Я их не ел.

По приезде в Котлас нас поместили за три версты от него, на песчаный берег Северной Двины, в лагерь, получивший название «Макариха», состоявший из двухсот бараков, в которых целыми семьями жили «раскулаченные» крестьяне очень многих русских губерний. Двускатные дощатые крыши бараков начинались прямо от песчаной земли. В них было два ряда нар и срединный проход. Во время дождей через гнилые крыши лились в бараки потоки воды.

Однажды утром я был свидетелем того, как на срединную площадку лагеря согнали двести заключенных и после регистрации погнали на баржи, которые повел небольшой пароход по реке Вычегде, впадающей недалеко от Котласа в Северную Двину.

Пустынная Вычегда течет между дремучими необитаемыми лесами и, как я позже узнал, все отправленные на баржах были высажены в дремучем лесу в нескольких десятках верст от Котласа, им дали топоры и пилы и приказали строить избышки. Не знаю, что было дальше с ними. Вскоре меня перевели из «Макарихи» в Котлас и предложили вести прием больных в амбулатории, а несколько позже перевели как хирурга в котласскую больницу.

Перед самым моим переводом в Котлас в «Макарихе» вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Жители Котласа мне рассказали, что год тому назад в «Макарихе» тоже свирепствовали сыпной и другие тифы и эпидемии чуть ли не всех детских заразных болезней. В это страшное время на «Макарихе» каждый день вырывали большую яму и в конце дня в ней зарывали около семидесяти трупов.

Очень недолго пришлось мне оперировать в котласской больнице, и скоро мне объявили, что я должен ехать на пароходе в город Архангельск.

В первый год жизни в Архангельске я испытывал большие затруднения в отношении квартиры и был почти бездомным. Не только врачи больницы, но, к удивлению моему, даже епископ Архангельский встретили меня довольно недружелюбно.

Мне предоставили работать по хирургии в большой амбулатории. Там я имел возможность видеть недостаточно радикально оперированных по поводу рака грудной железы женщин, и потому, когда ко мне пришла больная с раком груди, я не послал ее в больницу, а решил оперировать ее амбулаторно и сделал очень радикальную операцию. Узнав об этом, больничные врачи отправились с жалобой на меня к заведующему облздравотделом, но тот только спросил у них: «Так что же, операция прошла благополучно, больная жива, никаких осложнений нет? Так что же еще нужно?»

Живя в Архангельске, я заметил у себя твердую бугристую опухоль, возбуждавшую подозрение о раке, и сообщил об этом начальнику секретного отдела, прося разрешения поехать в Москву для операции. Он сделал запрос в Москву, и через две недели было получено разрешение мне ехать на операцию, но не в Москву, а в Ленинград. Я был этим удивлен, но принял направление в Ленинград как путь, указанный мне Богом.

В вагоне со мной познакомился молодой врач и по приезде в Ленинград пригласил меня в свою семью, избавив меня от затруднений в незнакомом городе.

Он повез меня далеко на Васильевский остров в большую клиническую больницу, в хирургическое отделение профессора Н. Н. Петрова, крупнейшего специалиста по онкологии. Профессор Петров отнесся ко мне с большим вниманием и сделал мне операцию. Вырезанная опухоль оказалась доброкачественной.

По выписке из больницы я отправился в Новодевичий монастырь, уже закрытый, и был весьма любезно принят митрополитом Серафимом, жившим там.

Из клиники меня провожал в монастырь мой бывший ученик по хирургии доктор Жолондзь. Мы беседовали с ним на медицинские темы, и я был очень далек от сколько-нибудь мистических мыслей и настроений.

Но вот что случилось дальше. К митрополиту я приехал в субботу, незадолго до всенощной, и отправился в большой монастырский храм в самом обыкновенном настроении. Служил иеромонах, а я стоял в алтаре. Когда приблизилось время чтения Евангелия, я вдруг почувствовал какое-то непонятное, очень быстро нараставшее волнение, которое достигло огромной силы, когда я услышал чтение. Это было одиннадцатое воскресное Евангелие. Слова Господа Иисуса Христа, обращенные к апостолу Петру: *Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они?.. Паси овец Моих* (Ин. 21, 15), – я воспринимал с несказанным трепетом и волнением как обращение не к Петру, а прямо ко мне. Я дрожал всем телом, не мог дожидаться до конца всенощной, пошел к митрополиту Серафиму и рассказал ему о случившемся. Он с большим вниманием слушал меня и сказал, что и в его жизни бывало подобное.

Еще в течение двух-трех месяцев всякий раз, когда я вспоминал о пережитом при чтении одиннадцатого Евангелия, я снова дрожал, и градом лились слезы из глаз.

Довольно скоро после моего возвращения из Ленинграда в Архангельск меня вызвал в Москву особоуполномоченный Коллегии ГПУ, и по приезде моем в Москву он в течение трех недель ежедневно беседовал со мною очень долго. Ему было поручено пересмотреть мое дело, так как, по его словам, в Ташкенте меня судили «меднолобые дураки». Было понятно, что ему было поручено основательно изучить меня. В его словах было много лести, он всячески превозносил меня. Он обещал мне хирургическую кафедру в Москве, и было вполне понятно, что от меня хотят отказа от священнослужения.

Как я раньше говорил, перед вторым арестом я был уволен на покой Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Сергием. Незаметно для меня медовые речи особоуполномоченного отравляли ядом сердце мое, и со мною случилось тягчайшее несчастье и великий грех, ибо я написал такое заявление: «Я не у дел, как архиерей, и состою на покое. При нынешних условиях не считаю возможным продолжать служение, и потому, если мой священный сан этому не препятствует, я хотел бы получить возможность работать по хирургии. Однако сана епископа я никогда не сниму».

Не понимаю, совсем не понимаю, как мог я так скоро забыть так глубоко потрясшее меня в Ленинграде повеление Самого Господа Иисуса Христа: «*Паси агнцы Моя... Паси овец Моих...*»

Только в том могу находить объяснение, что оторваться от хирургии мне было крайне трудно.

После моего заявления, копию которого я оставил митрополиту Сергию, меня не только не освободили досрочно, как это бывает с ссыльными, вызванными к особоуполномоченному, но вернули в Архангельск и прибавили еще полгода к сроку моей ссылки.

Только в конце 1933 года я был освобожден и уехал в Москву. Господу Богу было, конечно, известно, что я затеваю новый тяжко греховный шаг, и Он предупредил меня крушением поезда, которое, к сожалению, только напугало меня, но не образумило. В Москве первым делом явился я в канцелярию Местоблюстителя, митрополита Сергия. Его секретарь спросил меня, не хочу ли я занять одну из свободных архиерейских кафедр. Оставленный Богом и лишенный разума, я углубил свой тяжкий грех непослушанием Христову повелению: *Паси овец Моих* – страшным ответом: «Нет».

Несколько раньше я имел намерение вернуться в Ташкент и написал об этом митрополиту Арсению, но из ответа его понял, что он вовсе не обрадуется моему приезду.

Еще до окончания моей архангельской ссылки я послал наркому здравоохранения Владимирскому письмо с просьбой предоставить мне возможность заняться в специальном исследовательском институте разработкой гнойной хирургии. На погибель себе я от митрополита Сергия отправился в Министерство здравоохранения, чтобы лично ходатайствовать об этом. Нарком Владимирский меня не принял, а отправил к своему заместителю. Я просил заместителя об организации для меня специального научно-исследовательского института гнойной

хирургии. Он очень сочувственно отнесся к моей просьбе и обещал поговорить о ней с директором института экспериментальной медицины Федоровым, который должен скоро приехать. На радость диаволу, на погибель себе, я очень обрадовался этому, но Бог, хранивший меня и направлявший мои пути, сохранил меня от гибели, ибо Федоров отказался предоставить епископу заведование научно-исследовательским институтом.

Мне некуда было деваться, но на обеде у митрополита Сергия один из архиереев посоветовал мне поехать в Крым. Без всякой разумной цели я последовал этому совету и поехал в Феодосию. Там я чувствовал себя сбившимся с пути и оставленным Богом, питался в грязной харчевне, ночевал в доме крестьянина и наконец принял новое бестолковое решение – вернуться в Архангельск. Там месяца два снова принимал больных в амбулатории. В Архангельске открывался в это время медицинский институт, и мне предложили кафедру хирургии. Я отказался и, немного опомнившись, уехал в Ташкент.

Но оставаться в Ташкенте, мешая митрополиту Арсению, нельзя было. Я опустился до такой степени, что надел гражданскую одежду и в Министерстве здравоохранения получил должность консультанта при андижанской больнице.

Там я тоже чувствовал, что благодать Божия оставила меня. Мои операции бывали неудачны. Я выступал в неподходящей для епископа роли лектора о злокачественных образованиях и скоро был тяжело наказан Богом. Я заболел тропической лихорадкой Папатачи, которая осложнилась отслойкой сетчатки левого глаза.

Уехав в Ташкент, я получил заведование маленьким отделением по гнойной хирургии на двадцать пять коек при городской клинической больнице. Позже это отделение было расширено до пятидесяти кроватей.

Скоро я узнал об операции швейцарского окулиста Гопена, которой излечивались от 60 до 80 процентов больных отслойкой сетчатки. Эта операция получила скоро большое распространение во многих странах, и в Москве ее делал профессор Одинцов. Я оставил работу по гнойной хирургии и поехал в Москву, в клинику Одинцова. Он дважды сделал мне операцию Гопена, ибо в первый раз неточно определил все места отслойки сетчатки. Я лежал с завязанными глазами после операции, и поздно вечером меня опять внезапно охватило страстное желание продолжать работу по гнойной хирургии. Я обдумывал, как снова написать наркому здравоохранения, и с этими мыслями заснул. Спасая меня, Господь Бог послал мне совершенно необыкновенный вещий сон, который я помню с совершенной ясностью и теперь, через много лет.

Мне снилось, что я в маленькой пустой церкви, в которой ярко освещен только алтарь. В церкви неподалеку от алтаря у стены стоит рака какого-то преподобного, закрытая тяжелой деревянной крышкой. В алтаре на престоле положена широкая доска, и на ней лежит голый человеческий труп. По бокам и позади престола стоят студенты и врачи и курят папиросы, а я читаю им лекции по анатомии на трупе. Вдруг я вздрагиваю от тяжелого стука и, обернувшись, вижу, что упала крышка с раки преподобного, он сел в гробу и, повернувшись, смотрит на меня с немым укором. Я с ужасом проснулся...

Непостижимо для меня, что этот страшный сон не образумил меня. По выписке из клиники я вернулся в Ташкент и еще два года продолжал работу в гнойно-хирургическом отделении, работу, которая нередко была связана с необходимостью производить исследования на трупах. И не раз мне приходила мысль о недопустимости такой работы для епископа. Более двух лет еще я продолжал эту работу и не мог оторваться от нее, потому что она давала мне одно за другим очень важные научные открытия, и собранные в гнойном отделении наблюдения составили впоследствии важнейшую основу для написания моей книги «Очерки гнойной хирургии».

В своих покаянных молитвах я усердно просил у Бога прощения за это двухлетнее продолжение работы по хирургии, но однажды моя молитва была остановлена голосом из незем-

ного мира: «В этом не кайся!» И я понял, что «Очерки гнойной хирургии» были угодны Богу, ибо в огромной степени увеличили силу и значение моего исповедания имени Христова в разгар антирелигиозной пропаганды.

10 февраля 1936 года скорпостижно скончался от кровоизлияния в мозг митрополит Арсений. С Преосвященным Арсением у меня были самые близкие и дружеские отношения. Он любил моих детей и Софию Сергеевну и часто бывал у них. Он подарил мне две свои фотокарточки, на одной из которых написал: «Жертве за жертву» (см. Флп. 2, 17), а на другой: *Тобою, брат, успокоены сердца святых* (Флм. 1, 7). Фотографировался и вместе со мной. Он очень внимательно слушал мои проповеди и высоко ценил их. О себе он говорил, что исполнил все, предназначенное ему Богом, и потому ждал смерти.

Третий арест

Через год, в 1937 году, начался страшный для Святой Церкви период – период власти Ежова как начальника Московского ГПУ. Начались массовые аресты духовенства и всех, кого подозревали во вражде к советской власти. Конечно, был арестован и я. Ежовский режим был поистине страшен. На допросах арестованных применялись даже пытки. Был изобретен так называемый допрос конвейером, который дважды пришлось испытать и мне. Этот страшный конвейер продолжался непрерывно день и ночь. Допрашивавшие чекисты сменяли друг друга, а допрашиваемому не давали спать ни днем ни ночью.

Я опять начал голодовку протеста и голодал много дней. Несмотря на это, меня заставляли стоять в углу, но я скоро падал на пол от истощения. У меня начались ярко выраженные зрительные и тактильные галлюцинации, сменявшие одна другую. То мне казалось, что по комнате бегают желтые цыплята, и я ловил их. То я видел себя стоящим на краю огромной впадины, в которой расположен целый город, ярко освещенный электрическими фонарями. Я ясно чувствовал, что под рубахой на моей спине извиваются змеи.

От меня неуклонно требовали признания в шпионаже, но в ответ я только просил указать, в пользу какого государства я шпионил. На это ответить, конечно, не могли. Допрос конвейером продолжался тринадцать суток, и не раз меня водили под водопроводный кран, из которого обливали мою голову холодной водой. Не видя конца этому допросу, я надумал напугать чекистов. Потребовал вызвать начальника секретного отдела и, когда он пришел, сказал, что подпишу все, что они хотят, кроме разве покушения на убийство Сталина. Заявил о прекращении голодовки и просил прислать мне обед.

Я предполагал перерезать себе височную артерию, приставив к виску нож и крепко ударив по спинке его. Для остановки кровотечения нужно было бы перевязать височную артерию, что невыполнимо в условиях ГПУ, и меня пришлось бы отвезти в больницу или хирургическую клинику. Это вызвало бы большой скандал в Ташкенте.

Очередной чекист сидел на другом конце стола.

Когда принесли обед, я незаметно ощупал тупое лезвие столового ножа и убедился, что височной артерии перерезать им не удастся. Тогда я вскочил и, быстро отбежав на середину комнаты, начал пилить себе горло ножом. Но и кожу разрезать не смог.

Чекист, как кошка, бросился на меня, вырвал нож и ударил кулаком в грудь. Меня отвели в другую комнату и предложили поспать на голом столе с пачкой газет под головой вместо подушки. Несмотря на пережитое тяжкое потрясение, я все-таки заснул и не помню, долго ли спал.

Меня уже ожидал начальник секретного отдела, чтобы я подписал сочиненную им ложь о моем шпионаже. Я только посмеялся над этим требованием.

Потерпев фиаско со своим почти двухнедельным конвейером, меня возвратили в подвал ГПУ. Я был совершенно обессилен голодовкой и конвейером, и когда нас выпустили в уборную, я упал в обморок на грязный и мокрый пол. В камеру меня принесли на руках. На другой день меня перевезли в «черном вороне» в центральную областную тюрьму. В ней я пробыл около восьми месяцев в очень тяжелых условиях.

Большая камера наша была до отказа наполнена заключенными, которые лежали на трехэтажных нарах и на каменном полу в промежутках между ними. К параше, стоявшей у входной двери, я должен был пробираться по ночам через всю камеру между лежавшими на полу людьми, спотыкаясь и падая на них.

Передачи были запрещены, и нас кормили крайне плохо. До сих пор помню обед в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, состоявший из большого чана горячей воды, в которой было разболтано очень немного гречневой крупы.

Не помню, по какому поводу я попал в тюремную больницу. Там с Божией помощью мне удалось спасти жизнь молодому жулику, тяжело больному. Я видел, что молодой тюремный врач совсем не понимает его болезни. Я сам исследовал его и нашел абсцесс селезенки. Мне удалось добиться согласия тюремного врача послать этого больного в клинику, в которой работал мой ученик доктор Ротенберг. Я написал ему, что и как найдет он при операции, и Ротенберг позже мне писал, что дословно подтвердилось все, написанное в моем письме.

Жизнь жулика была спасена, и долго еще после этого на наших прогулках в тюремном дворе меня громко приветствовали с третьего этажа уголовные заключенные и благодарили за спасение жизни жулика.

К сожалению, я забыл многое пережитое в областной тюрьме. Помню только, что меня привозили на новые допросы в ГПУ и усиленно добивались признания в каком-то шпионаже. Был повторен допрос конвейером, при котором однажды проводивший его чекист заснул. Вошел начальник секретного отдела и разбудил его. Попавший в беду чекист, прежде всегда очень вежливый со мной, стал бить меня по ногам своей ногой, обутой в кожаный сапог. Вскоре после этого, когда я уже был измучен конвейерным допросом и сидел низко опустив голову, я увидел, что против меня стояли три главных чекиста и наблюдали за мной. По их приказу меня отвели в подвал ГПУ и посадили в очень тесный карцер. Конвойные солдаты, переодевая меня, увидели очень большие кровоподтеки на моих ногах и спросили, откуда они взялись.

Я ответил, что меня бил ногами такой-то чекист. В подвале, в карцере, меня мучили несколько дней в очень тяжелых условиях.

Позже я узнал, что результаты моего первого допроса о шпионаже, сообщенные в московское ГПУ, были там признаны негодными и приказано было произвести новое следствие. Видимо, этим объясняется мое долгое заключение в областной тюрьме и второй допрос конвейером.

Хотя и это второе следствие осталось безрезультатным, меня все-таки послали в третью ссылку в Сибирь на три года.

Везли меня на этот раз уже не через Москву, а через Алма-Ату и Новосибирск. По дороге до Красноярска меня очень подло обокрали жулики в вагоне. На глазах всех заключенных ко мне подсел молодой жулик, сын ленинградского прокурора, и долго «заговаривал мне зубы», пока за его спиной два других жулика опустошали мой чемодан.

В Красноярске нас недолго продержали в какой-то пересылочной тюрьме на окраине города и оттуда повезли в село Большая Мурта, около ста тридцати верст от Красноярска.

Там я первое время бедствовал без постоянной квартиры, но довольно скоро дали мне комнату при районной больнице и предоставили работу в ней вместе с тамошним врачом и его женой, тоже врачом. Позже они говорили мне, что я едва ходил от слабости после очень плохого питания в ташкентской тюрьме, и они считали меня дряхлым стариком. Однако довольно скоро я окреп и развил большую хирургическую работу в муртинской больнице.

Из Ташкента мне прислали очень много историй болезней из гнойного отделения ташкентской больницы, и я имел возможность благодаря этому написать много глав своей книги «Очерки гнойной хирургии».

Неожиданно вызвали меня в муртинское ГПУ и, к моему удивлению, объявили, что мне разрешено ехать в город Томск для работы в тамошней очень обширной библиотеке медицинского факультета. Можно думать, что это было результатом посланной мной из ташкентской тюрьмы маршалу Клименту Ворошилову просьбы дать мне возможность закончить свою работу по гнойной хирургии, очень необходимую для военно-полевой хирургии.

В Томске я отлично устроился на квартире, которую мне предоставила одна глубоковерующая женщина. За два месяца я успел перечитать всю новейшую литературу по гнойной хирургии на немецком, французском и английском языках и сделал большие выписки из нее.

По возвращении в Большую Мурту вполне закончил свою большую книгу «Очерки гнойной хирургии».

Наступило лето 1941 года, когда гитлеровские полчища, покончив с западными странами, вторглись в пределы СССР. В конце июля прилетел на самолете в Большую Мурту главный хирург Красноярского края и просил меня лететь вместе с ним в Красноярск, где я был назначен главным хирургом эвакогоспиталя 15–15.

Этот госпиталь был расположен на трех этажах большого здания, прежде занятого школой. В нем я проработал не менее двух лет, и воспоминания об этой работе остались у меня светлые и радостные.

Раненые офицеры и солдаты очень любили меня. Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали раненые. Некоторые из них, безуспешно оперированные в других госпиталях по поводу ранения в больших суставах, излеченные мною, неизменно салютовали мне высоко поднятыми прямыми ногами.

В конце войны я написал небольшую книгу «О поздних резекциях при инфицированных ранениях больших суставов», которую представил на соискание Сталинской премии вместе с большой книгой «Очерки гнойной хирургии».

По окончании работы в эвакогоспитале 15–15 я получил благодарственную грамоту Западно-Сибирского военного округа, а по окончании войны был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Священный Синод при Местоблюстителе Патриаршего престола митрополите Сергии приравнял мое лечение раненых к доблестному архиерейскому служению и возвел меня в сан архиепископа.

В Красноярске я совмещал лечение раненых с архиерейским служением в Красноярской епархии и во все воскресные и праздничные дни ходил далеко за город в маленькую кладбищенскую церковь, так как другой церкви в Красноярске не было. Ходить я должен был по такой грязи, что однажды на полдороге завяз и упал в грязь и должен был вернуться домой.

Служить архиерейским чином было невозможно, так как при мне не было никого, кроме одного старика-священника, и я ограничивался только усердной проповедью слова Божия.

По окончании моей ссылки в 1943 году я возвратился в Москву и был назначен в Тамбов, в области которого до революции было сто десять церквей, а я застал только две: в Тамбове и Мичуринске.

Имея много свободного времени, я и в Тамбове около двух лет совмещал церковное служение с работой в госпиталях для раненых.

В 1946 году я получил Сталинскую премию Первой степени за мои «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных ранениях больших суставов».

В мае 1946 года я был переведен на должность архиепископа Симферопольского и Крымского. Студенческая молодежь отправилась встречать меня на вокзал с цветами, но встреча не удалась, так как я прилетел на самолете. Это было 26 мая 1946 года.

На этом воспоминания обрываются. Они были продиктованы секретарю Е. П. Лейкфельд полностью ослепшим архиепископом Лукой в 1958 году в Симферополе.

Архиепископ Лука умер 11 июня 1961 года и похоронен в Симферополе, где занимал кафедру в течение пятнадцати лет.

Избранные проповеди

1945 год

Свет Христов сияет и теперь, как сиял прежде. Солнце всегда сияет ярко, но тучи заслоняют его. Так и Свет Христов не меркнет никогда: его только заслоняют грехи человеческие.
Святитель Лука

Слово в день памяти святых сорокамучеников Севастийских *Очищение покаянием*

Это было давно, в IV веке. Они были воинами римского войска и исповедовали христианство. Начальник войска потребовал от них отречься от Христа. Они отказались, и тогда их раздели догола и погнали в озеро. Стояла промозглая мартовская ночь, озеро было подернуто льдом, дул холодный ветер. Для соблазна на берегу была построена баня. Святые мученики стояли в воде до самой полуночи, мужественно перенося мучения. Только один из них не вытерпел и побежал в баню, но на пороге ее упал мертвым.

Тогда свет небесный воссиял над озером и на головы тридцати девяти страдальцев опустились сияющие венцы. Увидев это, один из стражей сбросил свои одежды и побежал к озеру с возгласом: «Я христианин!» И так восполнил число мучеников до сорока. В это время свет небесный согрел воду, и они не замерзли до утра. А утром их подвергли страшным мучениям и истязаниям, а затем сожгли и кости их бросили в реку.

Господь внушил во сне епископу Севастийскому взять кости мучеников из воды. И он ночью пошел исполнять повеление Божие. Придя к реке, он увидел, что святые останки сияют на дне, как звезды. Он вынес их оттуда, и они стали предметом почитания верных, частицы их были отнесены во многие места.

Вот как охраняли святые мученики свою веру во Христа: ничто не могло остановить их в следовании за Господом. А что ныне происходит у нас, слабых христиан? Множество верующих отреклось от Христа тогда, когда никто не мучил их, даже не угрожал никакими мучениями, когда просто требовалось написать в анкетах, верует человек или не верует. И убоявшись страха там, где не было страха (ср. Пс. 13, 5), люди объявили себя неверующими.

А вы знаете, какие страшные слова сказал Господь Иисус Христос о тех, кто отрекается от Него? *Кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми Ангелами* (Мк. 8, 38; см. также Лк. 9, 26). Эти несчастные малодушные люди должны приносить беспрестанное, глубочайшее покаяние до гроба! Покаяние, пример которого показали нам святые, например преподобный Варвар, бывший разбойником. Размыслив однажды о своей жизни и содрогнувшись от грехов, он пришел к священнику и просил пустить его в свиной хлев, где вместе со свиньями он прожил три года, ходя на четвереньках. Так каялся он, и Господь сподобил его дара чудотворения.

Преподобный Иаков, чудотворец, прозорливец, ухищрениями сатаны впал в тяжкое преступление и, отчаявшись в возможности спасения, хотел вернуться в мир. Но его нашел святой инок и убедил, что милосердие Божие к кающимся всем сердцем грешникам безмерно. Тогда преподобный Иаков затворился в пещере, наполненной костями мертвых, и прожил в

ней десять лет, каясь в своем тяжком грехе, и был прощен Богом, и снова получил дар чудотворения.

Вот примеры покаяния святых. Как же будут каяться отступившие от Христа? Неужели только скажут на исповеди священнику: «Грешен, батюшка, во всем грешен», – и затем уйдут, получив разрешение? Но Господь Иисус Христос святым апостолам Своим, а через них преемственно и нам, архиереям и священникам, дал власть не только разрешать грехи людей, но и вязать их, сказав: *что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе* (Мф. 18, 18).

Разве мы не обязаны строжайшим образом относиться к делу исповеди? Разве можем всем давать разрешение? Нет, не можем и не должны, ибо дадим страшный ответ перед Богом за души ваши. Апостол Иуда сказал нам, пастырям, как должно спасать вас: *к одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня* (Иуд. 1, 22–23).

Многих надлежит страхом спасать, ибо у них нет собственного страха, они слишком легко относятся к таким грехам, как прелюбодеяние, блуд, сквернословие. Господь же сказал, что *кто же скажет брату своему: «рака»* (пустой, глупый человек), *подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной* (Мф. 5, 22).

Святой апостол Павел заповедал нам, чтобы *никакое гнилое слово* не выходило из уст наших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим (Еф. 4, 29). А люди оскверняют язык и душу ужасными ругательствами и почти не замечают этого. Разве можем мы разрешать их грехи? Мы ответим перед Богом, если допустим их к Святой Чаше. Мы должны запрещать Причащение. Надо, чтобы человек пришел в себя, осознал тяжесть своих грехов, глубоко задумался, исполняя епитимью, налагаемую на него.

Раньше за грехи назначали тяжкие епитимьи. Святитель Василий Великий запрещал Причащение убийцам в течение двадцати лет, прелюбодеям – в течение восемнадцати лет. Но постепенно наказания все больше и больше ослаблялись, и от предписаний Вселенских Соборов, касающихся великих грешников, мало что осталось.

Уже очень давно святой Иоанн Постник, патриарх Константинопольский, написал свои правила о наложении епитимьи за грехи. Он был чрезвычайно мягким человеком и боялся налагать такие суровые наказания, какие содержались в книге канонов, и во много раз их ослабил. Но и оставленное им так тяжело, что вы и представить себе не можете.

У нас же епитимьи неизмеримо легче. Так дольше продолжаться не может, ибо расслабление жизни христианской, распущенность нравов среди нашего народа достигло уже вопиющих размеров. И как при тяжелой болезни часто необходимы бывают тяжелые хирургические операции, так и мы должны восстанавливать чистоту нравов христианских страхом и суровостью налагаемых епитимий. Но святой Иоанн Постник в своих правилах говорит:

«Если грешник добросовестно будет нести тяжелую епитимью, если принесет глубокое покаяние в грехах, то пастырь может и должен уменьшить наказание». Вот почему нужно помнить о мучениках Севастийских, о великих святых и преподобных, которые дали нам пример необычайного по силе покаяния.

Такая строгость может некоторых оттолкнуть от Церкви. Найдутся такие, кому важно только слушать песнопения и вдыхать фимиам в храме Божием, но они вовсе не вникают в свое сердце и легко продолжают совершать смертные грехи. Впрочем, пусть они отходят от нас. Ибо строгость и чистота, которую мы будем требовать от христиан, многих привлечет к нам, поскольку они увидят, что Церковь Христова – это общество чистых и святых людей, которые несут наказание за свои грехи, а их высокую нравственность блюдут пастыри и архипастыри. И очищенная слезным покаянием, наша Церковь будет сиять светом правды и любви Божией. Будьте же все светлыми, чистыми и святыми!

Аминь.

Слово в первый день Пасхи

Свет Христов ныне воссиял из Гроба

Святой апостол Петр сказал: *Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому* (1 Пет. 1, 3).

Тяжко и скорбно было апостолам, когда закатилось Солнце их, когда страшной смертью на Кресте умер их Учитель, всем сердцем ими любимый, Тот, Кого они исповедовали Мессией, Сыном Божиим, Христом. Им казалось, что все погибло с этой смертью, все рушилось: вся надежда, вся вера их. Как не восторжествовало Величайшее Добро, как не победила зло Сама Святая Любовь, сошедшая с небес?

Когда святые апостолы Лука и Клеопа шли из Иерусалима в Еммаус, их встретил на пути воскресший Господь Иисус Христос.

Но, как сказано в Священном Писании, *глаза их были удержаны, так что они не узнали Его* (Лк. 24, 16). Они вступили с Ним в разговор как с простым спутником. Когда Господь спросил их, почему они так печальны, они с удивлением ответили: «Ты один только в Иерусалиме не знаешь, что случилось в эти дни. Разве не знаешь, что распяли нашего Господа, Учителя нашего, Того, в Кого мы верили? Мы же надеялись, что Он Тот, Кто должен избавить народ израильский. Но вот уже третий день ныне, как это свершилось» (см. Лк. 24, 17–21).

Они забыли слова Христовы о том, что в третий день после Своей смерти Он воскреснет. Если бы они помнили это, если бы без остатка вместили в свои сердца полное прекрасной надежды обетование великой радости, то не были бы печальны, а ждали бы Воскресения Христова. Но отчаяние апостолов было столь безграничным, что, когда Христос воскрес, когда святая Мария Магдалина увидела Его, когда другие жены-мироносицы, узрев пустой гроб и Ангела, сидящего на отваленном камне, побежали к ним в великом страхе, трепете и радости, чтобы возвестить им об этом, – даже тогда они сочли слова их ложью и не поверили им (см. Лк. 24, 4–11).

Когда потом в течение сорока дней Господь являлся Своим ученикам, они встречали Его по-разному. Иногда они смотрели на Него в страхе и смущении, думая, будто это призрак, дух Христа. И Господу приходилось убеждать их в том, что они ошибаются. Он показывал им Свои руки и ноги, пронзенные гвоздями, ел перед ними рыбу и мед (см. Лк. 24, 39–40; 42–43).

Вот что говорит о Воскресении Христовом святой апостол Павел: *Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Но Христос воскрес из мертвых, первенец, из умерших. Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его* (1 Кор. 15, 12–14; 20–23).

Безумно сомневаться в истинности Воскресения Христова, ибо если мы не верим в то, что Господь Иисус Христос воскрес и воскреснем все мы, значит, мы отвергаем все учение Его, все дела Его, все, что Он явил миру. Проповедь Его была проповедью о вечной жизни в царстве Божием, указанием пути к спасению. Как же не верить, что Христос воскрес?

Что может лучше убедить людей в этом изумительном чуде – Воскресении Господа Иисуса Христа, как не смерть Его? Неужели кто-нибудь смеет думать, что Святейший святых, Величайший Чудотворец и Учитель, Какого никогда не видел мир, стоявший неизмеримо выше прочих учителей, в Котором, по словам апостола, не было *никакого греха* (см. 1 Пет. 2, 22), – Сын Божий мог быть навеки поглощен темной смертью? Если бы Он не воскрес, то в душах наших умерла бы вера в святую любовь и вечную правду. Тот, кто отвергает чудо Воскресения

Христа, низко падает в нравственном достоинстве, ибо не верит в безусловное добро, в святую истину.

А теперь вдумаясь в то, почему Господь в течение сорока дней по Воскресении являлся только Своим ученикам, а не всем людям. По нашему, человеческому, разумению кажется более естественным, чтобы Он в блеске Воскресения и величии славы явился как Победитель всему миру. Так кажется нам, но Господь судил иначе. Он знал, что величайшего чуда Воскресения Его не смогут вместить сердца людей, слышавших Его речи, постоянно видевших Его ходящим по улицам и площадям их городов. Такова человеческая природа: великие исторические события никогда не могут быть постигнуты во всей полноте и оценены их современниками. Нужны долгие годы, десятки, иногда даже сотни лет для того, чтобы, помышляя об этих событиях, смотря на них в далекой исторической перспективе, люди смогли понять их значение и сопоставить их со всеми условиями жизни, при которых они произошли.

И величайшее из всех событий мира, Воскресение Господа Иисуса Христа, конечно, не могло быть постигнуто современниками. Поэтому тщетно было бы Господу являться им: они бы все равно не поверили своим глазам, не узнали бы Его, как не узнавали даже Его ученики. Они бы сомневались и спорили об имени Его. Одни может быть, поверили бы в то, что Он воскресший Христос, а другие со злобой стали бы оспаривать возможность Воскресения.

Господь знал, что только просвещенные Божией благодатью, горячо Его любившие ученики могли поверить увиденному и стать истинными свидетелями Его Воскресения, и предоставил им свидетельствовать о Себе всему миру, ибо проповедь апостолов была проповедью о Воскресении Христовом, о Царстве Небесном и о грядущем воскресении всех христиан. На их глазах воссиял из Гроба Господня небесный свет, который постепенно проникал в сердца способных его воспринять. И ныне свет Христов воссиял из Гроба Господня и озаряет наши сердца. Будем же жить в этом свете и тянуться к нему всем своим существом! Будем же лобызать ноги воскресшего ныне Спасителя нашего Господа Иисуса Христа.

Аминь.

Слово во второй день Пасхи **«И Слово стало плотью»**

Только один раз в году читается первая глава Евангелия от Иоанна, и читается торжественно, многими священниками, на разных языках. Почему выбран именно этот отрывок? Потому что он содержит глубочайшие и важнейшие для нас тайны богословия.

Святой апостол Иоанн Богослов был простым рыбаком, он нигде не учился, но благодать Божия совершенно переродила его и сделала одним из мудрейших людей на свете. Он называется Богословом, и ни один из богословов не может сравниться с ним. Евангелие его с начала до конца поражает глубиной понимания учения Христова. Оно отличается от других Евангелий – от Матфея, Марка и Луки, ибо эти евангелисты излагают преимущественно то, что касается жизни и деяний Господа Иисуса Христа по Его воплощении. Никто из них не говорит с такой чудесной силой, как святой Иоанн, о предвечном существовании Бога Слова Господа Иисуса Христа. Никто столь убедительно не утвердил нашей веры в Его Божественность, никто так глубоко не изложил Его сокровеннейшего учения и важнейших откровений и деяний, как святой Иоанн.

В самом начале своего Евангелия святой апостол Иоанн именует Второе Лицо Святой Троицы, Господа нашего Иисуса Христа, Словом. Что значит это наименование? Самые разные слова живут в уме и сердце человеческом и исходят из них – слова истины и лжи, слова добрые и злые. Слово человеческое – то, что исходит из существа человеческого; то, что являет нам духовную сущность человека. Господь наш Иисус Христос называется Словом, потому что через Него было открыто и возведено миру учение о Святой Троице. Из ума Божиего излилось

слово проповеди Господа Иисуса Христа. Он был словесным Выразителем тайн Божиих и воли Божией.

Мир создан Словом Божиим, так говорит и святой пророк Давид: *Словом Господним небеса утверждены, и духом уст Его вся сила их* (Пс. 32, 6). Все Силы Небесные сотворены Словом Божиим. Непосредственным Деятелем творения мира был именно Господь Иисус Христос – Слово Божие: Он Вседержитель и Творец мира. Поэтому и называется Он в Евангелии от Иоанна Словом.

Вот как святой Иоанн утверждает предвечное существование Бога Слова и единосущность Бога Слова, Господа Иисуса Христа, со Отцом и Святым Духом.

В начале было Слово (Ин. 1, 1). В самом начале, когда мира еще не было, тогда уже было Слово, предвечно. *И Слово было у Бога* (Ин. 1, 1). Это Святейшее Слово, Второе Лицо Святой Троицы, всегда, от начала было у Бога, Оно было присуще Богу. И как слово человеческое рождается из ума человеческого, так и Бог Слово предвечно рождается от Бога Отца. *И Слово было Бог* (Ин. 1, 1). Какое еще более определенное утверждение о Божестве Господа Иисуса Христа можем мы ждать?

Оно было в начале у Бога (Ин. 1, 2). Оно всегда существовало у Бога, в уме Божиим. *Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть* (Ин. 1, 3). Ничто, получившее начало, получившее существование, не начало быть без Него, от Него получило оно свое бытие. Как нам представить себе такое таинственное и дивное единение Бога Слова с Безначальным Отцом и Святым Духом? Это объясняет нам святой апостол Павел, который в Послании к Коринфянам называет Господа Иисуса Христа *Божией силой и Божией премудростью* (см. 1 Кор. 1, 24). Возможно ли, чтобы Божия Сила и Божия Премудрость не была едина с Самим существом Божиим? Было ли время, когда Ее не существовало?

Святой апостол Павел также называет Господа Иисуса Христа Сиянием Отца (см. Евр. 1, 3). Сияет солнце на небе и изливает свой дивный свет на все поднебесное. Разве может оно сиять, но не изливать на землю света? Если Господь Иисус Христос называется Сиянием Славы Отца, это несомненно значит, что Он всегда существовал, всегда был присущим Отцу и Единосущным с Ним, ибо из существа Святой Троицы всегда исходило Божественное сияние, а этим Сиянием и был Господь наш Иисус Христос.

В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков; и свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин. 1, 4–5). Он был для всех нас Источником жизни – жизни вечной, истинной, которая была светом для людей. Этот Божественный Свет и доныне сияет во мраке жизни человеческой, и никакая сила дьявольская не может угасить его.

Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн (Ин. 1, 6). О каком Иоанне говорит здесь апостол? Конечно, о великом Предтече Господнем. *Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него* (Ин. 1, 7). Он пришел по Божию повелению для того, чтобы уготовить путь Господу, *прямыми сделать стези Ему* (см. Мф. 3, 3; Мк. 1, 3; Лк. 3, 4). Он светил миру светом своего сердца и приготавливал людей к восприятию истинного Света Христова, *Который просвещает всякого человека, приходящего в мир* (Ин. 1, 9). Это просвещение получаем мы, христиане, в великом Таинстве крещения.

В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал (Ин. 1, 10). Большая часть человечества Его не познала, отвергла Его. *Пришел к своим, и свои Его не приняли* (Ин. 1, 11). А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими (Ин. 1, 12). Он сошел с небес в мир земной, Им сотворенный, воспринял плоть человеческую от Пресвятой Девы Марии, пришел к Своему избранному народу израильскому, но не был принят большинством его. А тому меньшинству, которое приняло Его и полюбило Его всем сердцем, – ибо Он сказал: *Я уже не называю вас рабами... Я назвал вас друзьями* (Ин. 15, 15), – дал власть быть чадами Божиими, таинственно вторично родив их уже не по хотению плоти, не по хотению мужа, а непостижимым рождением от Бога (см. Ин. 1, 13).

И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца (Ин. 1, 14). Бог Слово воспринял человеческую плоть и тридцать три года жил с нами, исполненный благодати и истины. О Нем сказал Его Предтеча, что хотя Он родился по плоти позже, но стал впереди него, как Предвечный Сын Божий (см. Ин. 1, 15).

От Божественной полноты Его всеведения и любви излилась на весь род человеческий неиссякаемым потоком Божия благодать и всесовершенная истина. Ибо через пророка Моисея был дан закон о том, каких грубых грехов должны избегать люди, а от Господа Иисуса Христа мир узнал о гораздо более высоком нравственном совершенстве и обо всей полноте высшей истины. И не только узнал, но и получил благодатные силы к исполнению воли Божией.

Да будем же мы все достойны этого великого дела Господа – спасения рода человеческого. Да отверзнутся сердца наши к принятию света евангельского, света Господа нашего Иисуса Христа.

Аминь.

Безсмертие – безусловное требование души христианской

Два святейших, глубочайших стремления возносят нас превыше всякой твари: стремление к правде и бессмертию. Они свойственны только душе высокой, живущей духовной жизнью. Справедливость требует, чтобы смертные грехи человеческие не остались безнаказанными, чтобы все грешники получили воздаяние. Но мы видим, что в земной жизни это бывает далеко не всегда; часто даже наоборот: грешники благоденствуют, а праведные страдают. Наше сердце не может смириться с тем, чтобы дух такого великого святого, как преподобный и богоносный отец наш Серафим Саровский, куда-то исчез, совсем перестав существовать. Оно требует, чтобы святой Серафим и все великие святые, мученики, праведники, все благочестивые и чистые люди жили жизнью вечной, у Бога, чтобы великое добро их души никогда не переставало возрастать в вечности и бесконечности, чтобы они всегда приближались к Богу, пребывая в новом Иерусалиме, в Царстве Небесном.

Безсмертие есть безусловное требование души христианской. Святой апостол Павел говорит, что если мы не верим в воскресение мертвых, в жизнь вечную, то тщетна, бесполезна вера наша, и тогда мы ничем не будем отличаться от неверующих (см. 1 Кор. 15, 14). Мнение людей, отрицающих все духовное, решительнее и беспощаднее всего восстает против нашей веры в бессмертие. Они считают ее бессмысленной, признавая только то, что видят глазами, слышат ушами и осязают руками, то, что можно измерить и взвесить, только одно материальное. Они говорят, что невозможно, чтобы после того, как со смертью нашей умрет и разрушится наш мозг, остановится сердце, померкнет и исчезнет сознание, еще могла продолжаться – по их мнению, воображаемая нами – бессмертная, вечная жизнь. Они думают, что все кончается со смертью, что за гробом нет ничего – только вечная тьма и пустота.

Они основываются на том представлении, будто физиология с полной очевидностью показала, что вся наша духовная жизнь, сознание, помышления, чувства зависят исключительно от деятельности головного мозга, и убеждены, что после того как он угаснет и сгниет, невозможно будет ни думать, ни чувствовать, ни сознавать.

Мы же все материальное считаем неизмеримо менее важным, неизмеримо более низким, чем духовное. Мы глубоко убеждены в том, что, наряду с жизнью материальной, существует безграничная жизнь духовная, которая совершается и в нас самих, – жизнь, дающая нам способность молиться и входить в непосредственное общение с Богом. Мы верим, что, помимо всего видимого, ощущаемого, существует еще великая область того, чего мы не постигаем чувствами, ибо ум наш чрезвычайно ограничен и понимает лишь очень малую долю происходящего во вселенной. Мы знаем, что существует Воинство Небесное, святые духи, служащие

Богу. Знаем, что и в наших душах нередко происходит великое, таинственное восприятие высшего – не ограниченным умом, а сердцем и духом.

Мы понимаем, что живем тем глубоким, таинственным познанием, которое философы называют интуитивным. Интуиция – это постижение истины, сущности вещей не умом, а сердцем и всем существом нашим. По словам апостола Павла, человек состоит из тела, души и духа (см. 1 Фес. 5, 23). Что же такое душа? Что такое дух? Какая разница между ними?

Из Священного Писания мы знаем, что душу имеют не только люди, но и все живые существа, ибо древним законом народу израильскому было запрещено употреблять в пищу кровь животных, поскольку в ней – душа их (см. Лев. 17, 14), к которой нужно относиться с трепетом и благоговением. Ведь и животным, которые нас окружают, свойственны чувства, подобные человеческим. Именно это чувство, часто чрезвычайно глубокое, и составляет сущность души животных.

Проявления человеческой души есть то, что происходит в уме и в сердце нашем в результате восприятия нашими чувствами: зрением, слухом, осязанием – окружающего. И пока мы живы, непрестанно происходит этот удивительный процесс переживания тех впечатлений, которые мы получаем извне. Это и есть наша душевная деятельность.

Некоторые люди настолько низко стоят в духовном развитии, что деятельность их души подобна той, которая происходит у животных, и почти полностью этим ограничивается. Но есть люди, у которых огромную силу и власть имеет дух, которые должны быть названы носителями Духа Святого. Ибо если человек создан по образу и подобию Божию, значит он получил от Бога дыхание Духа Святого. Дух Святой живет и действует в нас во все время жизни нашей. И все, что происходит в нашем уме, сердце и душе, теснейшим образом связано с жизнью духа.

Все то, о чем мы думаем, что чувствуем, говорим, чего хотим, накладывает неизгладимый отпечаток на жизнь духа, и под влиянием того, чем живет душа, что происходит в наших умах и сердцах формируется и растет дух. И если вся наша жизнь, все помыслы и желания направлены к святому, доброму, великому и истинному, то дух наш все более и более укрепляется и, наконец, получает великую власть над душой и телом. Например, мы знаем из жития преподобной Марии Египетской о том, какую власть приобрел ее дух над телом: оно становилось невесомым и поднималось над землей, она, как по суше, проходила через воды Иорданские. Такова великая жизнь духа, постепенно освобождающегося от уз плоти и приобретающего над нею почти неограниченную власть.

В жизни нашей совершается нечто похожее на то, что происходит с виноградной гроздью. Прекрасной, чистой, полной красоты жизнью живет виноградная кисть. Она зреет под лучами солнца, питается соками лозы, и покрытые нежной кожицей ягоды винограда орошаются небесной росой. Но созрела гроздь, и пришло время ей быть выжатой и превратиться в ничтожные остатки, обреченные на гниение. Она умерла, но продолжает жить сок, начало и жизнь которому она дала.

Пока гроздь жила, в виноградном соке формировался прекрасный, тончайший вкус; подобно этому формируется наш дух в течение жизни, телесной и душевной. И подобно тому как вино продолжает жить после смерти грозди, и не только живет, но все более совершенствуется, ибо чем оно старше, тем прекраснее и драгоценнее, и дух наш, освободившись от уз тела, будет продолжать жизнь вечную и бесконечную, совершенствуясь в том направлении, какое избрал человек при жизни своей. Добрый, святой дух будет совершенствоваться в Царстве Небесном, а злой, мрачный дух будет вечно мучиться в обществе дьявола, отца всякого зла и тьмы.

Но вот святой апостол Павел напоминает нам о том, что мы постоянно слышим от неверующих, отвергающих безсмертие: *Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут?* (1 Кор. 15, 35). «Как можно верить в то, что совершенно сгнившие тела человеческие могут воскреснуть и души могут снова облечься в плоть? Безумно верить в то, что тело

человека, растерзанное диким зверем и переваренное в его желудке или проглоченное акулой и бесследно исчезнувшее в ее утробе, может снова воскреснуть».

Но мы безусловно верим и совершенно убеждены в своем грядущем воскресении. Только надо понимать, в каких телах мы воскреснем. Когда Господь Иисус Христос по Воскресении Своем являлся ученикам, тело Его воскресшее обладало такими свойствами, каких у него не было прежде: например, оно способно было проходить через закрытые двери (см. Ин. 20, 19) и становиться невидимым. Ибо когда Господь Иисус Христос, встретивший апостолов Луку и Клеопу на пути из Иерусалима в Еммаус, сотворил с ними вечерю, они не узнавали Его, пока Он, как на Тайной Вечери, не преломил хлеб, не благословил вино и не подал им. Но когда ученики узнали Его, Он внезапно стал невидим (см. Лк. 24, 15–31). Итак, образ Его изменился так, что апостолы или совсем не узнавали Его, или с трудом догадывались, что это Иисус Христос.

Вот что говорит о воскресении наших тел святой апостол Павел: *Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении... сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.